ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

М-119526

С-79

119526.

Василь Стефаник
Избранные произ-
4р50к.

119526.

2011

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ,

ОБОЗНАЧЕННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

	4928			

Тип. 11 з. 1602 т. 500000

ВКЛЮЧЕНА
В КАТАЛОГ

С-79

9

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Перевод с украинского

МУРМАНСКАЯ
ОБЛ. БИБЛИОТЕКА

М-11952б

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1950

V

390 118/2 пр.

Переплет, титул,
шмуцтитулы и заставки
художника
Е. ГОЛЯХОВСКОГО

ЛНБ ім. В. Стефаника
АН УРСР
133574

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ В. СТЕФАНИКА

1

Василь Стефаник является одним из виднейших украинских писателей демократического направления.

Конец XIX столетия характеризуется в Западной Украине значительным оживлением общественно-политической и культурной жизни, подъемом политической активности широких народных масс. Еще малочисленные демократические элементы западноукраинской интеллигенции резко выступают против ее реакционной части, против национализма и декадентства в литературе. Из среды этой демократической интеллигенции под влиянием русской революционно-демократической литературы, под влиянием Т. Г. Шевченко и И. Я. Франко вышла группа писателей, сочетавших в своем творчестве прогрессивность идейных позиций с новаторством формы. Иван Франко, определяя характер деятельности этой наиболее передовой части литераторов Западной Украины, говорил:

«В большинстве крестьянские сыны по происхождению, социалисты по убеждениям, молодые писатели принялись рисовать ту жизнь, которую лучше всего знали, — крестьянскую жизнь. Социалистическая критика общественного строя давала им ука-

зания, где искать в этой жизни контрасты и конфликты, необходимые для создания произведений искусства»[1].

Творчество молодых писателей В. Стефаника, Л. Мартовича, М. Черемшины посвящено изображению преимущественно жизни крестьянства, в частности показу обнищания, обезземеления, эмиграции, явлений в то время типичных для галицкого села.

Развитие демократических взглядов у литераторов Западной Украины, в том числе и у В. Стефаника, происходило под несомненным благотворным влиянием передовой русской культуры. Иван Франко неоднократно отмечал мировое значение русской передовой культуры и литературы, без которой «мир уже не может обойтись». Передовые круги русского общества в свою очередь интересовались развитием украинской литературы, в частности литературы Западной Украины.

На страницах легального русского журнала «Жизнь», в котором сотрудничал В. И. Ленин, появляются переводы произведений Ивана Франко, Василя Стефаника, Ольги Кобылянской, Леся Мартовича и критические статьи Леси Украинки. В статье «Малорусские писатели на Буковине», помещенной в этом журнале, Леся Украинка знакомит русских читателей с творчеством Ю. Федьковича, О. Кобылянской, В. Стефаника.

Сильнейшее влияние на молодых писателей Западной Украины оказало творчество великого пролетарского писателя М. Горького. В. Стефаник внимательно читал его произведения, цитировал их в своих письмах, а в 1903 г., во время своего пребывания на Украине, собирался специально побывать в Петербурге, чтобы повидаться с Горьким, но Горького в то время в Петербурге не было, и Стефанику пришлось отложить поездку. Сохранился экземпляр очерка М. Горького «9 января» с пометками Стефаника. Красным карандашом подчеркнута главная мысль автора: *«Нет силы, которая бы освободила народ, кроме силы самого народа»*.

---

[1] И. Франко. «Из последних десятилетий XIX в.». «Лит.-научн. вестник», 1901, кн. VIII, стр. 35.

А. М. Горький также был знаком с новеллами В. Стефаника и высоко ценил их, как произведения, правдиво отражавшие жизнь крестьянства Западной Украины.

2

Василь Семенович Стефаник родился 14 мая 1871 г. в селе Русове Снятинского района Станиславской области в семье зажиточного крестьянина. После окончания начальной школы в Снятине он в 1883 г. поступил в польскую гимназию в Коломые. Стефаника и других крестьянских детей учителя усадили на заднюю скамью. Из-за своего «хлопского» происхождения Стефанику постоянно приходилось терпеть издевательства со стороны преподавателей-немцев и соклассников — детей польских шляхтичей. Эти издевательства рано пробудили в сознании юноши чувство протеста против социального и национального неравенства. Формирование мировоззрения, идейное развитие будущего писателя проходили вне стен гимназии, потому что, как он говорит в своей биографии: «Гимназия, кроме формального преподавания и враждебного отношения к нам, ученикам-украинцам, ничего нам не давала».

В гимназии завязывается дружба между Стефаником и Лесем Мартовичем — оба они были членами тайного кружка учеников, ставившего своей задачей защищать интересы народа и содействовать его просвещению. В библиотеке кружка гимназист Стефаник впервые знакомится с произведениями Тараса Шевченко, Панаса Мирного, Марко Вовчок. Надолго завладел его вниманием Глеб Успенский. Об этом В. Стефаник рассказывает в своей автобиографии: «...я в течение двух лет не разлучался с ним и, хотя мне трудно было понимать жаргон его «Растеряевой улицы», прочел его всего, и он оказал на меня в гимназии самое сильное влияние».

Многих членов гимназического кружка, в том числе Стефаника и Мартовича, за их просветительскую пропаганду среди

народа исключили из коломыйской гимназии; друзья поступают в седьмой класс гимназии в Дрогобыче, которую и заканчивают в 1892 г.

В Дрогобыче В. Стефаник впервые встречается с Иваном Франко, с которым он потом «всю жизнь поддерживал самые дружеские отношения и которого, может быть единственного из великих украинских писателей, больше всего любил» («Автобиография»).

В начале 90-х гг. Стефаник и Мартович выступают в печати. В первых номерах журнала «Народ» (1890), редактируемого Иваном Франко, мы находим корреспонденцию Василя Семенова «Желудки наших рабочих людей и читальни», бесспорно принадлежащую В. Стефанику, и сообщение «Что делается и говорится в наших читальнях в Снятинщине» за подписью Л. М. (Лесь Мартович).

По окончании гимназии В. Стефаник поступает в Краковский университет, где изучает медицину, однако, как он сам пишет: «из этой моей медицины ничего путного не вышло, потому что я этой науки не любил».

В студенческие годы Стефаник активно участвует в общественной жизни, ездит по селам агитировать за крестьянских депутатов в парламент; в Кракове же Стефаник знакомится с польскими писателями-модернистами, которые группировались вокруг журнала «Жице».

В 1896—1897 гг. Стефаник начинает писать свои лирические «образки» [1], но не печатает их, желая, как это видно из писем, «выйти из леса различных литературных направлений, которые на меня теперь, на распутье, напали и тянут каждое в свою сторону». От стихов в прозе молодой писатель постепенно переходит к реалистическим зарисовкам из крестьянской жизни, в которых запечатлены беспросветная нужда, безвыходное экономическое положение и политическое бесправие крестьян Западной Украины.

---

[1] Лирические этюды, стихотворения в прозе.

Впервые Стефаник опубликовал в 1897 г. несколько новелл в буковинской газете «Праця», издававшейся в Черновицах, а в 1899 г. выходит его первая книжечка новелл «Синяя книжечка». Затем появляются сборники «Каменный крест» (1900), «Дорога» (1901) и, наконец, в 1905 г. сборник избранных новелл «Мое слово», — в этих книгах собрано почти все, созданное писателем за период 1897—1902 гг. Но именно тогда, когда его произведения становятся широко известными и появляются в переводах на русский, чешский, польский и другие языки, писатель на долгое время, до 1916 г., замолкает.

Правдивое отображение жизни, глубокое сочувствие к обездоленным труженикам галицкого села, исключительное поэтическое мастерство и оригинальность формы сразу же привлекают внимание литераторов и читателей к творчеству Стефаника. И Франко, и Леся Украинка, и Коцюбинский, и Горький отзываются о нем, как о выдающемся мастере художественного слова, как о глубоком знатоке крестьянской жизни.

В 1903 г. Стефаник впервые едет на «большую Украину», на открытие памятника Котляревскому. Во время своего пребывания в Киеве и Полтаве он знакомится с лучшими украинскими писателями — М. Коцюбинским, Лесей Украинкой, М. Старицким и другими.

С 1908 до 1918 г., до распада Австро-Венгрии, Стефаник был депутатом (послом) австрийского парламента.

Империалистическая война застала писателя в его родном Русове. Под впечатлением военных событий Стефаник снова начинает писать: в 1916 г. он пишет новеллу «Детское горе» и с тех пор до конца жизни не оставляет литературной работы. В 1926 г. выходит сборник военных и послевоенных новелл Стефаника «Земля».

В 1921 г. было отмечено 50-летие со дня рождения Василя Стефаника, а в 1926—1927 — 30-летие его литературной деятельности и 25-летие со дня выхода в свет сборника «Дорога». С 1923 г. налаживаются его связи с культурными и литератур-

ными организациями Советской Украины: в украинских советских журналах появляются его новые произведения, в издательствах многократно выходят сборники его новелл, имя его приобретает широкую популярность в народе. Правительство Советской Украины устанавливает писателю пожизненную персональную пенсию.

Отвечая после юбилея на многочисленные приветствия из Советского Союза, Стефаник писал: «Стою на углу своей хаты и протягиваю к вам руки... Приветствуйте от меня все могучие таланты у вас». Он горячо желал побывать на Советской Украине, но польское правительство Пилсудского, с большой подозрительностью относившееся к его связям с советской общественностью, не выдало ему визы на поездку. В 30-х гг. под нажимом реакционных польских властей Стефаник принужден был окончательно прекратить официальные связи с культурными организациями Советской Украины. Но идейная связь с советским народом и его литературой оставалась у писателя до последних дней его жизни.

7 декабря 1936 г. Василь Стефаник умер.

После воссоединения западноукраинских земель с Советской Украиной на родине писателя, в селе Русове, в домике, где он жил и работал, создан мемориальный музей.

3

Общественно-политические и эстетические взгляды Стефаника формировались под влиянием борьбы трудящихся Западной Украины за свои социальные и национальные права. В начале литературной деятельности некоторое влияние на Стефаника имели польские модернисты, но вскоре писатель освободился от этих чуждых ему влияний: для писателя-демократа лозунги «чистого искусства» были неприемлемы.

«Крестьянский мир, — заявлял Стефаник в одной из своих речей, — посылает лучшие свои силы в иной, в панский мир,

чтобы они там набирались ума, знаний и защищали его потом от этого панского мира». Такой силой он считал и себя. Но в этом же заключалась и ограниченность Стефаника. Для него крестьянство было равнозначным понятию — народ; писатель не понимал исторической роли рабочего класса в борьбе с капиталистическим миром, миром эксплоатации, и единственную надежду возлагал на интеллигенцию. В то же время в своей статье «Поэты и интеллигенция», во многих своих письмах и публичных речах он резко выступал против реакционной части галицийской интеллигенции, говоря, что это «тот новый доробкевич» [1], который хочет выбраться наверх и властвовать». Эта часть западноукраинской интеллигенции: попы, адвокаты, мелкие служащие, в своей массе была консервативна, с эгоистично-мещанскими взглядами на жизнь. Представителя такой интеллигенции Стефаник называет «доробкевичем», «который по своему положению должен быть немного демократом, немного аристократом и не смеет иметь характера». Вот почему писателя не привлекали темы из жизни интеллигенции, и в одном из писем к Ольге Кобылянской он писал: «К интеллигенции не лежит у меня сердце. Писать для нее не буду. Нельзя любить то, что родилось пятьдесят лет тому назад и осталось маленьким да еще плюгавеньким». Он утверждал, что «своей жизнью и идеалами не достойна она (интеллигенция) заполнить десятки томов повестей и увлечь талант, который писал бы эти повести».

В. Стефаник писал о крестьянстве Галиции, жизнь которого он знал хорошо. Он видел бедняка на кулацком или господском поле, изнуренного непосильным трудом и обожженного солнцем. Он часто бывал и в лачуге бедняка, подолгу беседовал с ним, знал его думы и чаяния. И чем глубже проникал писатель в общественные отношения полукрепостнической Австро-Венгерской монархии, тем отчетливее видел, как буржуазно-помещичий и национальный гнет калечит и уродует тело и душу труженика.

---

[1] Нарицательное имя карьериста, беспринципного человека.

Горечь, боль и гнев охватывают писателя, и он смело поднимается на защиту политических прав и человеческого достоинства бедноты.

Стефаник рисует правдивые картины социального горя, показывает политическое и национальное бесправие крестьян Западной Украины, обнищание и обезземеление их и, связанные с этим, душевные драмы и катастрофы.

Герои произведений Стефаника пассивны: они во власти отчаяния, и трагизмом безысходности отмечены все их дела и поступки. К ним с полным правом можно отнести замечание В. И. Ленина, что: «Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, неспособен бороться»[1].

Стефаник, как поэт крестьянства, видел зло капиталистических порядков, обрекавших на голод и вымирание миллионные массы бедноты, но не видел выхода, не имел революционной перспективы. В этом именно и проявлялась его идейная ограниченность, как и у многих других писателей крестьянской демократии.

4

«Синяя книжечка» — первый сборник реалистических новелл В. Стефаника. В них писатель нарисовал широкую обобщающую картину жизни крестьянства Западной Украины в условиях капитализма. Лаконичные, глубоко правдивые новеллы рисуют подлинный ад, в котором в конце прошлого века оказались трудовые слои народа Западной Украины. Голод, нищета, продажа земли за долги, страшная эксплоатация со стороны панов, кулаков и ростовщиков, повседневные трагедии и драмы, возникавшие на почве материальной нужды, процесс классового расслоения села — все эти явления общественной жизни под пером талантливого писателя воплощались в яркие картины. Этим объясняется тот огромный интерес, с которым воспринимались произведения

---

[1] В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 16, стр. 302.

В. Стефаника передовыми кругами украинской и русской интеллигенции.

Они видели в произведениях Стефаника яркую иллюстрацию положения крестьянства при капитализме. Вот почему в 1900 г. в журнале «Жизнь» рядом с работой В. И. Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве» печатаются переводы новелл Стефаника под общим заглавием: «Из крестьянского быта». В этом же номере журнала в статье «Малорусские писатели на Буковине» Леся Украинка так характеризует творчество Стефаника: «Стефаник изображает крестьян, стоящих на пороге полной пролетаризации или уже переступивших этот порог, впрочем, переходное, самое болезненное состояние почти исключительно занимает молодого писателя» [1].

То же самое говорит о творчестве В. Стефаника и А. Луначарский в одной из своих статей того времени («Литературный распад», кн. 2-я, 1909 г.).

Большинство произведений Стефаника поражает необычайной силой драматизма. Одна из первых его новелл — «Синяя книжечка» рисует крестьянина-неудачника: «Все шло у него из рук и ничего в руки». Когда умерла жена и два сына, герой новеллы, Антон, стал пить, пропил хату, поле, огород, взял у старосты синюю книжечку, паспорт, и уходит из села на заработки. Стефаник не вскрывает социальных причин трагедии, а скорее подчеркивает семейную драму Антона, однако мы видим в этой новелле типичную для капиталистического строя картину пролетаризации села, изображение процесса мучительного отрыва крестьянина от земли, превращения его в пролетария.

Описанию нищеты и голода посвящена одна из лучших новелл Стефаника «Случай». Спокойным, эпическим тоном рассказывает писатель: «В селе случилась беда. Гриць Летючий утопил в реке свою девочку. Он хотел утопить и старшую, но та упросила оставить ее». Что привело Гриця Летючего к такому

---

[1] Леся Украинка. Твори, т. VII, Книгоспілка, 1925, стр. 267.

страшному преступлению? Постоянная материальная нужда. Крестьянин-бедняк, потерявший после смерти жены надежду прокормить своих дочерей, решил утопить их: «Скажу панам-судьям, что не было другого выхода; есть нечего, хату истопить нечем, ни постирать, ни голову вымыть, ну, ничего! Я принимаю кару, я виновен и пойду на виселицу!»

Несмотря на спокойный тон новеллы, мы ощущаем горячее сочувствие писателя к своим обездоленным героям. Слово писателя звучит обвинительным приговором господствующим классам, обрекшим миллионные массы крестьянства на голод и вымирание. Сила этой новеллы, как и других произведений Стефаника, в реализме, в правдивом изображении жизни, в пафосе разоблачения социального зла.

В новелле «Каменный крест» мы видим, как целые семьи, а иногда и целые села, задавленные нуждой, вынуждены были бросать родные места и эмигрировать. Главный персонаж новеллы, крестьянин Иван Дидух, всю жизнь тяжело работал на своем, расположенном на холме, поле: «На том бугре бабы брали песок, и зевал этот бугор в небо оврагами и пещерами, как страшный великан». Писатель с огромной силой показал тяжкий, беспросветный труд, когда крестьянин впрягался в телегу и вместе с лошадью тянул снопы с поля или навоз в поле. От такого труда и невзгод Иван Дидух согнулся до самой земли, словно был переломлен в пояснице.

Доведенный до отчаяния, Иван Дидух был вынужден эмигрировать в Канаду.

Односельчане Дидуха, собравшиеся проводить Ивана и его семью в дальнюю дорогу, подтверждают безвыходность положения крестьянской бедноты Западной Украины: «Нашей земле не под силу столько народа прокормить и столько горя вынести. И мужику не под силу, и ей тоже, — обоим не под силу. И саранчи нет, и пшеницы нет. А подати растут. Где раньше ты платил один лев [1], то нынче — пять платишь, раньше ты сало ел, а те-

[1] Лев — австрийская монета (около рубля).

перь картошку; ой, испепелили нас. Так зажали, так к рукам прибрали, что из этих рук никто нас не сможет и вырвать, разве что бежать!.. Но будет когда-нибудь расплата, поднимется народ и возьмется за ножи...»

С болью в душе оставляет Иван Дидух свою землю.

Проникновенно, тонко, заглядывая в глубочайшие тайники крестьянской психологии, рисует Василь Стефаник все противоречивые чувства, переживаемые Иваном Дидухом, уезжающим в далекую чужбину, его страх перед неизвестностью, достигающий высшего напряжения в картине прощания крестьянина со своим клочком поля на холме. Чтоб оставить память по себе, Дидух втаскивает на холм тяжелый каменный крест, высекает на нем свое и женино имя.

В новеллах «Катруся», «Заседание», «Осень», «Предвестники» показано тяжелое экономическое положение трудящихся масс, обреченных капиталистической действительностью на вымирание, вырождение и одичание. Беспросветная, горькая участь стариков и больных — «лишних ртов».

Вполне естественно, что писатель обратил свое творческое внимание на классовое расслоение села и на такие социальные условия, при которых неизбежны душевные драмы, трагизм семьи задавленного нуждою бедняка.

В новелле «Поджигатель» выведены контрастные типы: сельский эксплоататор Андрий Курочка и его батрак Федор. В этом самом большом по своему размеру произведении В. Стефаник последовательно и правдиво рисует картину жизненного пути батрака и созревание в нем протеста против эксплоататора. Пока это только протест батрака-одиночки, доведенного до отчаяния, но писатель показывает, что не только у батрака Федора, но и у всей деревенской бедноты созревает сознание необходимости активной борьбы против своих классовых врагов — помещиков и сельских богатеев.

Ярко и выразительно нарисована здесь картина «свободных выборов» в Австро-Венгрии.

«У сельской канцелярии стояли две кучки: одна — оборванная, чужая на селе, безразличная; другая — чистая, белая, оживленная, — батраки и хозяева. Из той и другой кучки вызванные шли в канцелярию и голосовали. Управляющий экономией охрип: ему приходилось объявлять каждому батраку имена пана, старосты и шинкаря».

В процессе выборов вспыхнул конфликт между батраками и богатеями. Один из батраков, упрекая кулака, говорит:

«А ты, грамотей, думаешь, что я не был в читальне? Да ведь и там бедный народ стоит у порога. Рассядутся за столом ксендз, церковный совет, богатеи; дьяк газеты читает, а вы киваете головами, как волы, будто что понимаете. А сами один к одному такие дурни — хоть глаза выколи. Вот так читальня: богатей за столом, а батрак у порога. И в церкви так, и в канцелярии, везде так. Откуда же нам заодно с вами быть?»

Федор обличает эксплоататора-кровососа Курочку и начинает при всех перечислять ему свои обиды. Взбешенный богатей ударяет Федора по лицу, и тот, обливаясь кровью, падает.

«Хлопцы, а ну, малость помнем богатея!..» Батраки схватили Курочку, за Курочку встали хозяева, полилась кровь». Новелла заканчивается сценой мести: Федор поджигает усадьбу кулака Курочки. Это — проявление стихийной ненависти батрака к богачу, жажда мести, как у Хомы Гудзя, героя повести М. Коцюбинского «Fata Morgana». Но Федор не одинок, за ним стоит деревенская беднота, готовая бороться за свою «мужицкую правду» против угнетателей.

Стефаника глубоко волнует судьба обездоленных детей в задавленном капиталистическим и национальным гнетом галицком селе. В одном из лучших произведений писателя «Кленовые листья» крестьянин Иван, у которого родился ребенок, рисует кумовьям-соседям беспросветное будущее своих детей.

«Гляжу я на свое дите, — и не думаю, чтобы оно выросло путевым, чтобы умело толком работать...

Я не жду, чтоб оно вошло в силу, ума-разума набралось,

чтоб около меня пожило, а как только богатей или пан разинул пасть, я его туда бросаю, только бы избавиться! А потом оно бегает возле скотины; ноги — сплошная рана, роса разъедает, жнивье колет, а оно скачет и плачет... Так растет оно в хлеву, под столом или под лавкой, получает зуботычины, умывается слезами».

В рассказе передана сложнейшая гамма чувств и настроений: здесь и глубокая отцовская и материнская любовь к детям, и потрясающая глубиной трагизма сцена смерти матери.

Новелла заканчивается лирическим аккордом — тяжело больная мать поет над ребенком колыбельную песню.

«В слабом, срывающемся голосе изливалась ее душа и нежно приникала к детям, целовала их головки. Слова тихие, невнятные рассказывали, как кленовые листочки развеялись по чистому полю, и никто их не сможет собрать, и никогда уж больше им не зеленеть. Песня силилась вырваться из хаты и улететь в опустевшее поле вслед за листочками».

Подобные картины вызывают чувство протеста против социального строя, создавшего невыносимые условия жизни миллионам сельских и городских пролетариев.

Критика не раз обвиняла Стефаника в пессимизме, в том, что он рисует только темные, трагические стороны жизни села. Отвергая эти обвинения, писатель неоднократно и в письмах, и в публичных выступлениях указывал, что сама действительность принуждала его рисовать, главным образом, трагические ситуации. В своей речи на юбилее в 1926 г. Стефаник сказал:

«Говорят, что я пессимист. Но это не верно. Я оптимист. Я показал вашу темную жизнь, и показал ваши настроения, и все то страшное, что в ней есть, и что так мучит меня. Писал я страдая, и кровь со слезами смешивалась. Но если я нашел в ваших душах слова, которые могут греметь, как громы, и светить, как звезды, то это оптимизм» [1].

[1] Василь Стефаник. Вибрані твори. Государственное издательство художественной литературы, Киев, 1949, стр. 14.

И Леся Украинка, и многие критики также указывали, как на характерную черту большинства персонажей Стефаника, на их пассивность. Герои его произведений страдают, мучаются, но редко поднимаются до социального протеста и борьбы. Мы уже говорили, что эта пассивность, бесперспективность имеет свои корни в ограниченности мировоззрения писателя, крестьянского демократа.

В новеллах «В корчме», «Святоша», «По дороге из города», «Осень», «Напасть», «Катруся» содержатся яркие картины сельского быта. Рождение и смерть, нищета крестьян-тружеников и стяжательство ростовщиков и панов — все это изображено в коротеньких новеллах, которые в своей совокупности создают полную картину жизни галицкого села. Новеллы «Май», «Панок с причудами», «Сон» представляют собой психологические этюды, в них писатель мастерски раскрывает глубину человеческих переживаний.

Необходимо отметить, что сюжеты и ситуации для своих произведений Стефаник брал непосредственно из жизни. Он жил среди своих героев и хорошо знал их. Новеллы «Случай», «Суд», «Погубил себя», «Письмо», «Подпись» написаны на основе действительных событий и фактов, происшедших в родном селе Русове и в соседних селах.

В связи с инсценировкой некоторых его новелл Стефаник в 1935 г. вспоминает многих своих героев. Эти воспоминания как бы вводят нас в творческую лабораторию писателя.

«После спектакля, когда я возвращался домой, вставали передо мной некоторые герои моих рассказов, особенно Иван Дидух из «Каменного креста». Он ни за что не хотел покидать свою каменистую землю, но сыновья, невестки и дочери не давали ему покоя...» Иван Дидух потом писал Стефанику, что «вокруг него все чужое и что его ферма ему не мила».

«Иван из «Кленовых листьев» все расплывался в моем воображении, я не мог представить себе его лицо. Я боюсь, что это не был реальный человек, а так, нахватанный отовсюду.

А хорошо я помню старого Федора из «Поджигателя», — он действительно поджег Курочку, он сам мне признался, но Курочка сразу же отстроился, а Федор пошел нищенствовать.

...Каждый образ в моих новеллах стоил мне много труда и бумаги. Все они расплылись, как облако, но, может быть, молодые поэты и писатели столкнутся с ними где-нибудь, ведь они теперь высоко летают, и пусть приветствуют их от меня...»[1]

Реальные картины действительности, воплощенные в лаконичные по форме психологические новеллы, и создали Стефанику славу певца крестьянства Западной Украины.

5

После книги «Мое слово» (1905) Стефаник на многие годы замолк. Под впечатлением военных событий в нем «снова родилось слово». В 1917 г. появляется в печати его новелла «Детское горе», затрагивающая военную тему, а вслед за нею и другие. В 1926 г. вышел сборник новых произведений Стефаника «Земля», состоявший из восьми новелл. Творческая работа писателя, хотя и не особенно интенсивная в эти годы, не прекращается до последних лет его жизни.

119546.

В военных и послевоенных новеллах Стефаник попрежнему остается выразителем крестьянских интересов. Рисуя жизнь села в годы империалистической войны и оккупации земель Западной Украины панской Польшей, писатель выражает заветное стремление трудящихся масс Западной Украины сбросить социальный и национальный гнет.

Стефаник правдиво рассказал о ненависти широких трудящихся масс Западной Украины к фашистскому режиму Пилсудского и страстном стремлении воссоединиться со всем украинским народом в едином советском государстве. Западноукраинское село с надеждой смотрело на Восток, где украинский народ под руководством большевистской партии строил на своей земле

[1] «Радянська література», 1941, № 4—5.

АНБ ім. В. Стефаника АН УРСР
МУРМАНСКАЯ ОБЛ. БИБЛИОТЕКА

новую жизнь без помещиков и капиталистов, где украинская национальная культура получила широкие возможности для своего свободного развития и стала подлинно народной социалистической культурой.

Недаром старый крестьянин в новелле «Morituri» с уважением говорит о молодых: «Разум у них есть, не бойся! Молодые свет повидали. Польши ни ни, не хотят, а панские земли хотят поделить».

Настроением активной борьбы за социальное и национальное освобождение проникнуты новеллы «Дед Гриць», «Военные убытки» и др.

Нужно отметить, что живя в Галиции, в атмосфере бешеной ненависти к Советскому Союзу со стороны украинской националистической буржуазии, В. Стефаник держался с достоинством народного писателя и не раз заявлял: «А сторонником Великой Украины я всегда был и всегда буду».

В основном послевоенное творчество Стефаника политически направлено против польской оккупации. Послевоенное село уже не похоже на то, которое он рисовал в конце прошлого века. В том селе люди мучились, страдали, но редко поднимались до активного социального протеста. Новое село живет не только мечтами об освобождении, но и активно выступает против социального и национального гнета. В новелле «Военные убытки» староста горько жалуется на новых хозяев:

« — Нет покоя ни днем, ни ночью. Давай им есть, давай водку, ищи с ними в селе бунтовщиков, ищи оружие, ищи листовки из Вены, рой землю, ищи измену Польше».

Писатель изображает нарастание событий, ненависть крестьян к шляхетскому владычеству. Польский правительственный комиссар ведет учет военным убыткам, а полицейский тем временем собирает для него в селе кур, яйца, водку. Когда польский чиновник возвращается из села, на него нападают молодые крестьяне, отбирают все, что он вез с собой, а его жестоко избивают.

Художественная и познавательная ценность послевоенного творчества В. Стефаника особенно высока. В нем раскрываются классовые взаимоотношения в селе, нарастание протеста, нашедшего свое выражение в открытом призыве к освобождению из-под иноземного ярма.

Трех лет не дожил Стефаник до исторической даты 17 сентября 1939 г., когда осуществились мечты писателя и его народа, когда была снесена искусственная граница и западные земли Украины навеки воссоединились с украинским советским государством, нераздельным членом братской семьи великого Советского Союза.

Алексей Максимович Горький в письме (1908) одному из молодых писателей горячо рекомендует познакомиться с творчеством В. Стефаника: «Прочитайте, вы увидите, как кратко, сильно и страшно пишет этот человек».

В этих словах Горького сказано все основное о литературном стиле В. Стефаника.

Реализм Стефаника, его художественная манера отлична от реализма его предшественников. Он был одним из выдающихся писателей нового, прогрессивного направления.

Франко первый увидел и определил это новое направление. Он указывает на эмоциональность, лиризм молодых новеллистов, на их стремление раскрывать психологическое состояние своих персонажей, на лаконизм изложения. Среди представителей нового направления Франко на первое место ставит В. Стефаника:

«Что отличает все его рассказы, более сильные и более слабые, длинные и короткие, не говоря о могучем, как океан, глубоком чувстве, которое дрожит в каждом слове, ощущается в каждой черточке, — так это именно тот безошибочный художественный такт, который велит во всем и всегда соблюдать меру. Стефаник — абсолютный властелин формы» [1].

---

[1] И. Франко. «Из последних десятилетий XIX в.». «Лит.-научн вестник», 1901, кн. IX, стр. 130.

Буржуазно-националистическая критика, исходя из формалистических принципов деления писателей на школы, не раз причисляла Стефаника, как и Коцюбинского и Лесю Украинку, к модернистам. Писатели демократического направления ничего общего не имели с идейными и эстетическими принципами декадентов.

Если для декадентов характерен аристократизм и презрение к толпе, то в основе творчества Стефаника и других демократических писателей лежала идея любви к народу, защиты его интересов, его человеческого достоинства.

Если декаденты проповедовали аморальность, создавая культ «сверхчеловека», то в произведениях Стефаника простые и обездоленные люди выступают как носители лучших, благороднейших моральных качеств человека.

Если декаденты прятались от жизни, то Стефаник никогда не сходил с пути писателя-реалиста, правдиво и честно отображавшего условия жизни, мысли и стремления своих героев.

Если декаденты увлекались изысканной формой ради формы, то новая художественная форма В. Стефаника всегда служила утверждению передовых демократических идей и взглядов.

Творчество Стефаника имеет иные философские и идейные основы, чем творчество декадентов.

Первой особенностью творческой манеры Василя Стефаника является краткость, лаконизм изложения. Чаще всего он рисует переживания персонажей в момент наиболее высокого психологического напряжения, не перегружая произведение длинными описаниями быта и внешней обстановки. Образы и персонажи его новелл, нередко близкие и похожие один на другой, всегда несут на себе индивидуальные черты, как, например, Иван из «Кленовых листьев» и «переломанный» Иван из «Каменного креста», поджигатель Федор и Федор из новеллы «Письмо».

Вторая особенность новелл Стефаника — их лиризм. Он скорее поэт, чем прозаик. Марко Черемшина указывал, что Стефаник больше переживает свои произведения, нежели пишет их; Леся Украинка в статье «Малорусские писатели на Буковине»

подчеркивала, что «все наброски Стефаника проникнуты тем животворящим духом участия автора к своим персонажам, который придает непреодолимое обаяние художественным произведениям и которого не может скрыть даже самая объективная форма». Упоминание об объективной форме обусловлено тем, что В. Стефаник никогда, или почти никогда, не вводил авторских рассуждений в ход рассказа и умел передать настроение персонажей через их разговоры и поступки.

Третья особенность новелл Стефаника — их драматизм. Это дало основание А. М. Горькому сказать, что Стефаник пишет не только кратко и сильно, но и страшно. Картины смерти, голода, нужды занимают в его произведениях большое место. В этом выразилось сочетание трагизма окружающей писателя обстановки со склонностью к трагическому в самом характере художника. Своими произведениями он приковывал внимание «просвещенного общества» к горю и страданиям народа. «Герои Стефаника пассивны или инертны, но они полны такого живого, захватывающего страдания, перед которым невозможно оставаться спокойным», — писала Леся Украинка.

Произведения Стефаника написаны на местном диалекте, что в некоторой степени усложняет их восприятие и понимание широкими читательскими массами. Это сознавал и сам писатель и в одной из своих поздних статей «Под влиянием постановки «Земли» говорил: «Нельзя не радоваться, что наш литературный язык теперь занимает так много места в литературе, в науке и в публицистике. Без литературного языка нет ни литературы, ни науки, ни публицистики. Потому я и не могу советовать нашим поэтам и писателям писать на диалекте» [1].

Отошли в прошлое страшные картины народной нужды и бедствий, запечатленные Василем Стефаником в его новеллах. Нарисованные им картины являются разительным контрастом к

---

[1] «Радянська література», 1941, № 4—5.

современной жизни, расцветающей сейчас на основе колхозного строя там, где родился, жил и работал писатель.

И именно сейчас приходит всенародная слава к Стефанику — борцу за народные интересы, певцу беднейшего крестьянства.

Вот что пишет о новом Русове колхозница артели им. Василя Стефаника Прасковья Шпуганик:

«Как черная туча, ушли былые годы. Над Галицией засияло солнце Сталинской Конституции. Ласково осветило оно и наше Русово. . .

Артель, которая носит имя нашего славного земляка Василя Стефаника, стала родным нашим домом, а мы, колхозники, как одна семья живем в согласии, дружбе и достатке. Пусть бы теперь наш земляк-писатель посмотрел на судьбу нового Русова и на весь советский край.

Мы хорошо помним Стефаника. Бывало, зайдет в хату, приветливо улыбнется и обо всем расспросит — и о печали, что сердце точит, и про бедственную нашу жизнь. Мы его слушали очень внимательно, ведь о бедняцкой доле говорил он так правдиво, как оно и в жизни было.

Какое прекрасное произведение написал бы он сейчас о бывшем русовском бедняке-батраке, ставшем хозяином своей судьбы!» [1]

Это письмо простой колхозницы является лучшим памятником писателю-демократу. Не забыто горячее слово В. Стефаника, отдавшего свой талант на защиту прав трудящегося крестьянства бывшей Галиции.

Демократизм, правдивость, реализм его произведений, актуальность тематики и мастерство художественной формы определили ему почетное место среди классиков украинской литературы.

С. Крыжановский

---

1 «Радянська Україна» от 15 января 1948 г.

НОВЕЛЛЫ

КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ

1

Постель застлана холстиной, за столом сидят кумовья, на краю печки — рядком дети. Они спустили рукава, словно стайка перепелок, что отдыхает, но вот-вот готова вспорхнуть. Зато кумовья сидели недвижимо, только руками тянулись за хлебом или за рюмкой водки, да и руки охотнее не двигались бы, а отдыхали, сложенные в кулаки на коленях. Нехотя кумовья брали хлеб и рюмку. Каганец мигал на шестке, и большие, черные тени людей ложились на потолок. Там они переламывались на балках и также были недвижимы.

Склонившись у стола, стоял Иван — хозяин хаты и отец только что окрещенного младенца.

— Пожалуйста, дорогие кумовья, еще по чарочке. Хоть это и не горилка, а помои, да для нас, мужиков, всегда так: что ни есть на свете самое горькое, он должен испить, что ни есть на свете самое тяжелое, он должен вытянуть. . .

— На то ж мы и родимся, — смиренно отвечали кумовья.

Когда чарка обошла круг, Иван положил ее лежмя около бутылки, боялся, чтоб такая маленькая посудинка не упала на пол.

— И закусывайте... Подумать только, сколько хлопот свалилось на меня в самую жатву, в самую горячую пору. А я, ей-богу, и не знаю, как мне быть? То ли бросать жнитво и ходить за больной женой и готовить детям еду, то ли оставить их тут на милость божью и тащиться голодному косить? Уж, видно, такова моя доля, ведь в такую пору никто и за большие деньги не придет подсобить. На тебе, Иван, дитятко и радуйся, а то мало их у тебя!

— Не ропщите, кум, не гневите бога, на то воля его, не ваша. А дети — пена на воде, нападет на них какая беда, и понесете всех на кладбище.

— На моих не нападет, а вот где одно, там нападет. Нищий, так не льни ты к бабе, не смотри даже в ту сторону, где она, лучше будет! Тогда и бог не даст...

— Это вы, кум, говорите зря, никогда этому не бывать, люди должны плодиться.

— Были б это люди, а то нищие плодятся. Вот я и говорю, раз ты нищий, так и не плодись, не размножайся, как мышь, а будь доволен, что у тебя на плечах рубаха, что у тебя кусок хлеба, что ты не голоден и никто тебя по морде не бьет. Если все это у тебя есть, так чего тебе еще надо? А от бабы подальше.

— Кум Иван, потише вы, а то женщине, как вообще в таком положении, не надо бы слушать этого, такой разговор не принесет ей здоровья. Поговорим как-нибудь в другое, в более подходящее время.

— Прошу вас, простите меня за такие слова, но вы

думаете, что я о ней хлопочу, о детях или о себе?! Ей-богу, не хлопочу, да пропади они пропадом и я заодно с ними! То-то б потеряли мы рай на земле и богатство оставили!

Кумовья уже не перечили, поняли, что Ивана не переспоришь, и хотели, чтоб он поскорей выговорился и отпустил бы их спать. Иван отошел от стола, остановился среди хаты, опустив рукава, как у детей на печке, и обратился к ним:

— И чего вы не летите с моей головы? Я вам и окна и двери открою, ну, летите!

Дети забились в темный угол печи, так что их даже не видно было.

— Ишь, саранча, все только хлеба, хлеба и хлеба! А откуда ж я вам этого хлеба наберу?! Да пока ты за теми двенадцатью панскими снопами покланяешься, а за это себе один получишь, — тебя в три погибели согнет, так что и не разогнешься. Каждый стебелек тебя в сердце кольнет!

Это он говорил детям, а потом обратился к кумовьям:

— А вечером, весь измочаленный, только покажешься в хату, они тебе в один голос, и жена и дети: «Хлеба нет!» И ты, несчастный, не спать идешь, а тащишь цеп и молотишь в потемках, чтоб им завтра было что есть. А тебя так и свалит на сноп и лежишь, как колода, до рассвета, пока на тебя роса не падет. И только глаза продерешь, начинает тебя эта роса есть; мало того, что тебя беда поедом ест, так еще и эта тебя ночью найдет! Промоешь глаза и тащишься на поле такой черный, что солнце перед тобой меркнет.

— Иван, не сокрушайтесь о детях, не только вы — и бог им отец, постарше вас.

— Я с богом за грудки не хватаюсь, но зачем он этих несчастных на свет пускает, как голого в терн?! Пустит на землю, талану в руки не даст, манны с неба не пошлет, а потом все кричат: «Мужики — воры, разбойники, душегубы!» Столкнешься в церкви с таким жирным да налитым, что муха по нем не поползет, и корит он тебя, и ругает: вы, говорит, не внушаете детям страха божьего, вы их сами воровать посылаете, — эх, да где мне так срамить! А вот если бы за моим ребенком ходили и мамка, и нянька, и хозяйка, да к тому бы мне люди всего натащили, то и я бы, ваше преподобие, знал, чему детей учить! А мои дети растут в бурьяне вместе с курами, а случись что, вот как сейчас, так никому и дела нет, сыты они или куска хлеба за весь день не видали. Воруют ли, попрошайничают, или подбирают объедки, разве мне ведомо? Я кошу ваши поля и забываю не только о детях, но и о себе некогда вспомнить! Вам бы хотелось, чтоб я и ваши поля обрабатывал и детей чтоб учил. А вы что ж? Вот так, кумовья, сами вы знаете, каково наше житье...

— Знаем, кум, знаем! Как не знать, коли сами в нем бродим.

— Гляжу я на свое дите, — и не думаю, чтобы оно выросло путевым, чтобы умело толком работать. Я только поглядываю, хорошо ли оно научилось по земле ходить, чтоб скорей спихнуть внаймы, вот чего я жду. Я не жду, чтоб оно вошло в силу, ума-разума набралось, чтоб около меня пожило, а как только богатей или пан разинул пасть, я его туда бросаю, только бы избавиться! А потом оно бегает возле скотины; ноги — сплошная рана, роса разъедает, жнивье колет, а оно скачет и плачет. Ты помог бы ему скотину загнать, ноги бы ему поцеловал, — ты ж его породил, и

совесть тебя грызет, — но проходишь мимо да еще прячешься от него, чтоб и не слышал тебя!..

Иван побагровел задыхаясь.

— Так растет оно в хлеву, под столом или под лавкой, получает зуботычины, умывается слезами. А подрастет, да и украдет что-нибудь, потому что никогда радости оно не знало и хочется ему краденым потешиться, — смотришь, идет к тебе жандарм. Закует тебя в кандалы, изобьет, как скотину, потому как ты отец вора и должен быть с ним в сговоре. Так ты и становишься вором навеки! Но это не все, конец еще впереди. Пускай бы твой сын, твое дитя, а для людей вор, сгнил в остроге, — что ж, вора не жалко! Пускай бы так. Но они отнимут у него здоровье и отправят лечить в больницу, а потом посылают письмо старосте, чтоб отец платил издержки. Из хаты тебя выгонят, пожитки твои выбросят под забор. Идешь к старосте, руки целуешь: «Голубчик, староста, избавьте меня от этой кары». — «Ты, — скажет староста, — бедный человек, и можно бы тебя выручить, но какая мне выгода от этого?» Пожмешь плечами, согнешься, как складной ножик и скажешь: «Месяц буду вам задаром отрабатывать...» Так это или не так, кумовья? Правду я говорю или брешу, как пес?!

— Все так, весь порядок такой, ни одним словом не ошиблись!

Иван весь дрожал, чувствуя на себе всю тяжесть своих страшных слов.

— Не говорите, кумовья, будто я каркаю над головами своих детей, как ворон над падалью, не говорите, кумовья, не говорите! Я не каркаю, я правду говорю, моя скорбь каркает, сердце каркает!

Глаза его загорелись, они были полны горячей любви к детям, он искал их глазами по хате.

— Можно подумать, что я измываюсь над своими детьми, как злой ворог. А я вовсе не измываюсь, я только вперед заглянул своими глазами на их жизнь и сегодня, и завтра, и через год-другой и посмотрел, как они там живут. А что увидел, то и сказал. Я словно пошел к ним в гости, и кровь моя застыла, глядя на их житье. . .

Смолк на минуту и. . .

— Эх, кабы до этой Канады не было морей, забрал бы я всех в мешок и пешком пошел бы туда, чтоб унести их от этого поругания. Я бы эти моря берегами обходил. . .

Кумовья совсем было забыли об отдыхе, а теперь спохватились, быстро собрались и ушли.

2

Утро.

Дети обедали на земляном полу, стучали ложками и заливали рубашки. Рядом лежала мать, худая, желтая, и от боли прижимала колени к груди. Ее черные нечесаные волосы сбились от боли и страданий, а губы сжала, чтоб не кричать. Дети с ложками во рту оборачивались к матери, смотрели на нее и опять поворачивались к миске.

— Сенюшка, ты уже наелся?

— Уже, — ответил шестилетний мальчик.

— Так возьми веничек, покропи землю и подмети хату. Мама не может нагнуться; очень болит внутри. Да не пыли только!

— Подвиньтесь, мама, а то я не могу подмести.

Мать поднялась и поплелась к постели.

— Сенюшка, а теперь хорошенько умойся да сбе-

гай воды в жбан зачерпни, да не упади в колодезь, не слишком наклоняйся-то!

— Сенюшка, сбегай нарви огурцов в решето, а мама их в горшке посолит, а то вижу, что захвораю, и нечего будет вам с хлебом есть. Нарви укропа и вишневого листа, да не дергай огудину, а рви осторожненько у самых плетей. . .

— Сенюшка, сними с жердей рубахи, я залатаю их, а то ходите черные, как вороны.

Сеня бегал, делал все, что говорила мать, и то и дело подталкивал младших сестер и говорил, что девки только одно и знают — есть.

— Они еще маленькие, Сеня, а вот подрастут — будут тебе рубашки стирать.

— Я пойду внаймы, там мне и рубашки постирают, а в них я не нуждаюсь.

— Не радуйся, дитятко, наймам, еще не раз будешь свои дни оплакивать.

— А отец вот выросли внаймах, и все у них есть.

— И ты вырастешь внаймах, но от этого роста шкура у тебя будет трещать. Ну ты, Семен, не болтай, а собирайся-ка отцу обед неси. Небось он там голодный, все глаза проглядел, тебя ожидаючи.

— Я возьму тятину палку — от собак отбиваться.

— А если потеряешь, отец нас обоих побьет. Да не ходи с непокрытой головой, возьми хоть отцову шапку.

— Эта шапка так на глаза сползает, что и дороги не видать.

— Вымой жбанчик, да налей борща!

— Вы меня не учите, я и так знаю.

— Сенюшка, ты гляди, чтоб тебя собаки-то не покусали. . .

3

Семенил ногами по толстому слою пыли, оставляя за собой маленькие следочки, похожие на белые цветы.

— Фьють! Пока дойду, так совсем взопрею от солнца. Но я подберу волосы, как у солдат, и легче будет итти.

Поставил обед на дорогу, подобрал волосы на макушку, чтоб прижать их шапкой и быть похожим на стриженого солдата. Глаза смеялись, он подпрыгнул и покатился дальше. Но волосы из-под большой шапки сползли на шею.

— Плохая шапка, вот как пойду внаймы, куплю себе такую шапочку...

Причмокнул губами. Пройдя еще немного, он опять поставил обед на землю.

— Нарисую-ка я себе большое колесо со спицами...

Сел посреди дороги в пыль и обвел вокруг себя палкой, потом нарисовал лучи в колесе. Потом вскочил, перепрыгнул через обод и радостный побежал дальше.

Подкрадывался к каждым воротам, заглядывал, нет ли во дворе собаки, и быстро перебегал. Из одного двора выбежал пес и пустился за ним. Сеня испугался, закричал и сел с обедом. Палка упала на дорогу. Долго, съежившись, сидел, ждал собаку, думал, укусит. Потом отважился, взглянул и увидел над собой черного пса, — тот спокойно стоял около него.

— На, на, Цыган, каши, только не кусайся, а то больно мне будет, а твоему хозяину штраф придется заплатить. Он тебе ноги перебьет за этот штраф.

Щипал из-под платка кашу, бросал собаке и смеял-

ся, как та хватала на лету кусочки. Собака разинет пасть, и Сеня тоже открывал рот.

— Ты это чей, сорванец? Собак по дороге кормишь, а в поле что понесешь?

И какая-то женщина дала ему подзатыльник.

— Чего ж вы деретесь, ведь собака хотела разорвать меня!

— А ты чей, такой учтивый?

— Я — Ивана Петрова, но у мамки маленький родился, и они больны, а я должен нести обед, а меня собаки кусают, а вы еще бьете...

— Ох, как я тебя била... Куда ж ты обед несешь?

— Отцу в поле, возле пруда.

— Пойдем со мной, горюшко, я тоже туда обед несу.

Пошли вместе.

— А кто обед варил?

— Мама варили, я еще не умею, а Мария и Катерина совсем маленькие.

— Так, выходит, мать-то не больна?

— Как же не больные, по полу так катаются, так стонут, что даже страшно! А я за них работаю!

— Ну, уж и работник!

— Вот не знаете, а говорите зря. А ну, спросите мамку, какой я умный! Я весь «отче наш» знаю...

Женщина засмеялась, а Сеня пожал плечами и замолчал. За ними бежал пес, и Сеня делал вид, что бросает кашу, манил его за собой.

4

Прошло три дня.

Посреди хаты сидел Сеня с сестрами, возле них стояло корыто с маленьким ребенком. На полу миска со свежими накрошенными огурцами и хлеб. На по-

стели лежала их мать, обложенная зелеными ветками вербы. Над ней жужжал рой мух.

— Наедайтесь и сидите тихо, а я понесу маленького к Василихе, чтоб покормила. Отец велели носить утром, в обед и под вечер, а вечером они сами придут.

— Сенюшка, не переломи спинку маленькому.

— А я думал, что вы спите. Отец велели давать вам булки и холодной воды. Мария вон какая прыткая, подобралась к булке и уже откусила. Но я поколотил и отнял. Хотите есть?

— Не хочу!

— Отец сделали свечку из воска и сказали, когда вы будете помирать, дать вам в руки и зажечь. А я не знаю, когда давать?

Мать посмотрела большими блестящими глазами на сына. Глубокая тоска, жалость, беспомощность и страх отразились в ее глазах и вместе родили две больших прозрачных слезы. Они выкатились и застыли на ресницах.

— Утром отец тоже плакали в сенях и так головой о косяк бились. А потом взяли косу и ушли.

Он взял ребенка и вышел.

— Сенюшка, не давай мачехе бить Катрусю, и Марийку, и Василька. Слышишь? А то мачеха будет бить вас, морить голодом и рубах чистых не даст.

— Я не дам, мама, и отцу пожалуюсь.

— Не поможет, сыночек мой миленький, не поможет, дитятко ты мое золотое! Когда подрастете, любите друг друга, крепко, крепко!.. Помогай им, сынок, не давай их в обиду.

— Когда пойду внаймы, буду сильный, я не дам их в обиду, я каждое воскресенье буду к ним приходить.

— Сенюшка, проси отца, чтоб он любил вас, скажи, что мама наказывала.

— Ешьте булку...

— Пой маленькому, чтоб не плакал.

Сеня качал ребенка, но петь не умел. Мать обтерла ладонью сухие губы и запела.

В слабом, срывающемся голосе изливалась ее душа и нежно приникала к детям, целовала их головки. Слова тихие, невнятные рассказывали, как кленовые листочки развеялись по чистому полю, и никто их не сможет собрать, и никогда уже больше им не зеленеть. Песня силилась вырваться из хаты и улететь в опустевшее поле вслед за листочками...

1900 г.

СИНЯЯ КНИЖЕЧКА

Антон, что вон там пьяный орет на выгоне, всегда был какой-то неудачливый. Все шло у него из рук и ничего в руки. Купит корову — та издохнет, купит свинью — ее болезнь схватит. И каждый раз так.

А когда умерла у него жена, а за ней и оба сына, так Антона словно подменил кто. Пил, пил и пил; пропил свою полоску поля, пропил огород, а теперь и хату продал. Продал хату, взял себе у старосты синюю книжечку — паспорт — и должен теперь итти куда-нибудь внаймы, службу себе искать.

Сидит вон там, пьяный, и перечисляет, чтоб все село слышало, кому продал поле, кому огород, а кому хату.

— Продал и аминь! Не мое — и все тут! Не мо-о-е! Эх! если б дед мой поднялся из гроба да поглядел! Мил человек, четыре вола, здоровенных, как монахи,

двадцать четыре морга[1] земли, хата на все село! Все было. А у внука, погляди, что!

И показывал селу синюю книжечку.

— Ой, пью и еще буду пить. На свои пью, и никому до этого дела нет. А он мне говорит: «Эх, ты, пропил всю землю!» Печать ставит и укоряет! Ого, я еще и не таких старост видывал.

Чтоб тебе так легко умирать было, как мне сейчас легко жить.

Ухожу я из хаты, навсегда ухожу, поцеловал порог и ухожу. Не мое — и конец! Гони, как пса, от чужой хаты! Можно — пожалуйста! Было мое, а теперь чужое. Выхожу во двор, а лес шумит, словами выговаривает: «Вернись, Антон, в хату, вернись, человече!».

Антон бьет себя кулаками в грудь так, что гул по селу идет.

— И, знаете, такая тоска на меня напала, такая тоска! Вернулся в хату. Посидел, посидел, опять выхожу... Не мое, что ж тут говорить, раз не мое...

Моим бы врагам так легко было с жизнью расставаться, как мне из моей хаты уходить.

Выхожу я во двор, так за сердце и хватило. Мох зеленый на хате, надо бы ее наново покрывать. Нет, не я тебя, бедняжка, буду соломой крыть. Камень... камень — и тот бы треснул от горя!

Говоря это, Антон бил кулаками по твердой земле, как по камню.

— Сел я на завалинку. Еще покойница ее ладила, а я глину тачками возил. Хочу встать, а завалинка не пускает, шагну — не пускает. А мне горько, нет, не горько! А погибаю я... Сижу и реву, так реву, словно с меня шкуру сдирают. Люди смотрят на мое раскаяние.

---

[1] Морг — межевая мера, около 0,5 гектара.

А вон там, у ворот, поп панихиду правил. Весь народ плакал. Хорошая, говорит, жена была, работящая...

Перевернитесь в гробу, несчастные: я пропащий! Пропил все до нитки. И холст пропил. Слышишь, Мария, и ты, Василек, и ты, Юрчик: теперь ваш отец будет ходить не в домотканных, а в дешевых рубахах и господам воду таскать...

Антон показывает на хату старосты.

— Вот старостиха — добрая женщина. Вынесла хлеба мне на дорогу, чтоб староста не видел. Да поможет господь бог твоим детям, где б их нога ни ступила. Да пошлет вам всем бог долю лучшую, чем мне...

По какому праву я сижу на чужой завалинке? Ухожу. Только встал я с нее, а окна в слезы... Заплакали, как малые дети. Лес им рассказывает, а у них слеза за слезой катятся. Заплакала по мне хата. Словно дите по матери — так заплакала.

Вытер я полой окна, чтоб напрасно не плакали: все равно не поможет, и ушел.

Ой, легко, что камни грызть. Потемнел свет передо мною...

Антон взмахнул рукой.

— Эх, есть еще денежки, выпью! С нашими людьми! С ними все и пропью. Пусть помнят, как я из села уходил.

А вот, за пазухой у меня синяя книжечка. Это и моя хата, и мое поле, и мой огород. Иду с ней на край света! Книжечка от цесаря, повсюду передо мной двери открыты. Повсюду. И у панов, и у шинкарей, и у людей всякого звания!

1897 г.

Положил грабли возле себя, сел на межу, закурил трубку — и понеслись думы, обгоняя друг друга. А потом заговорил громко на все поле.

— Ну-ка, малость отдохну спокойно, а то, покажись домой, сейчас старику работу найдут. Невестка, век бы ей быть здоровой, круть-верть — и сразу затрещит: «Да не сидите вы. . .»

Сам господь с небес видит, что я еле ноги волочу. А руки, гляди, как скрючило, и уж месяц небритый, а в церковь и дорогу забыл. Да и в чем пойдешь, когда последнюю рубашку с плеч забрали?

От межи к меже по всему полю разносился голос деда, и все оглядывались в его сторону. А он, не переставая, жаловался.

— Ой, и детки ж нынче! Но у меня, слава богу, память еще не отняло, я помню, что говорил нотариус. Сухощавенький такой был панок, с бородкой, и он так растолковывал сыну: «У деда, говорит, пока он жив, должна быть своя постель, и он может спать, он может отлеживаться хоть до восхода солнца. А уж когда, говорит, под образа его положите да землей засыплете, тогда ты с лавки на дедову постель и перебирайся. А у бабки, говорит, должна быть бабкина печь, пускай старая отогревается, пускай богу молится, а уж когда ее обмоете, да руки накрест сложите, тогда пусть невестка на печь лезет, тогда она ее».

Осенний ветер играл седыми волосами деда.

— Эх, если бы нотариус этак невзначай вечером заглянул в хату. Сын на постели, невестка на печи, а мы со старухой на земле, на соломке валяемся. И это по правде? А где бог? У этих людей нет бога, ой, нет. . .

Еще и головой подтвердил, что нет бога у молодых.

— Подыхайте, мол, старики. а то для вас и ложки борща жалко. Молочко поедают, творожок поедают, а мы, как щенки голодные, на них смотрим. Я им и коровку дал, и овечек дал, и плуг дал, все хозяйство дал. Как все люди дают, так и я дал. А нынче они говорят: вы старенькие, слабенькие, так и ешьте понемножку. Вот как нам отвечают наши дети.

Голос деда дрогнул, и он оборвал речь.

— Да и похоронят-то нас, как собак, ей-богу, сапога на ногу не наденут. . .

Стая аистов, опускаясь в камыши, захлопала крыльями над дедом, — испугала даже. В теплые края собирались улетать.

— Ого, уже осень. Этак и рождество не задержится. . .

И до чего ж она разумна, хоть и птица, только что не говорит. Ей плохо, она ищет себе лучшего. Зимой нет лягушки и холодно. А она наперед это знает. Не то, что человек, которому суждено свою недолгую жизнь на одном месте коротать.

Встал с межи, спрятал трубку, взял грабли и побрел домой. Еще несколько раз оглядывался на аистов. И остановился.

— Эх, нашелся бы добрый человек и сказал мне, дождемся ли мы с бабкой, увидим ли их, когда назад прилетят? Видно, уж кому-нибудь из нас не дождаться. видно, аистов нам больше не видать. . .

1897 г.

ПРОВОЖАЛИ ИЗ СЕЛА

Над закатом застыла багровая туча.

Вокруг нее заря раскинула свои беловатые пасма, и похожа была эта туча на окровавленную голову ка-

кого-то святого. А из-за этой головы пробивались лучи солнца.

Во дворе стояла толпа. Словно от раскаленного докрасна камня падал на нее отблеск заката — суровый, застывший. Из сеней высыпало еще много народа. Выходили печальные — как от покойника.

За людьми вышел молодой парень с коротко постриженной головой. Все смотрели на него. Им казалось, что голове этой, озаренной сейчас кровавым светом, суждено упасть с плеч где-то далеко на цесарской дороге. Где-то, в чужих краях под знойным солнцем, упадет она на дорогу и будет валяться.

Мать стояла на пороге.

— Ты уж идешь, сынок?

— Иду, мама.

— А на кого ж ты нас покидаешь?

Бабы заголосили, сестры в горе заломили руки, а мать билась головой о косяк двери.

Отец подошел к сыну.

— Садись, сынок, на телегу, а то на чугунку опоздаем.

— Еще хоть одну ноченьку переночуй у меня, сынок! Уж так трудно мне было тебя вырастить! Надышаться на тебя не могла! Поутру с солнышком я снаряжу тебя в дорогу и плакать не буду. Переночуй, переночуй, дитятко!

Потянула сына за рукав в хату.

Толпа двинулась к воротам.

Вскоре мать с сыном вышли. Лицо ее было белее мела.

— Сынок, — спрашивал отец, — а кто ж мне, голубчик, кукурузку будет полоть?

Мужики заплакали. Отец упал головой на телегу, и тело его дрожало, как лист.

— Ну, пошли!

Мать не пускала.

— Не уходи, Миколушка! Да покуда ты вернешься, и порог-то у хаты покосится, и углы-то погниют. Меня в живых не застанешь, да и сам, того гляди, не воротишься.

Обняла ноги сына.

— Лучше б я тебя на тот свет убирала.

Тронулись.

Те, что стояли у ворот, пошли провожать рекрута.

Шли лесом.

Листья устилали дорогу. Они свернулись в медные лодочки, чтоб с осенней водой поплыть вслед за рекрутом. Лес перехватывал плач матери и уносил его в поле, бросал в борозды, чтоб знало поле, что по весне Миколе уж не пахать на нем.

За лесом остановились в поле. Рекрут начал прощаться с селом:

— Прощайте, и свои, и чужие! Коли чем обидел вас, простите и благословите в далекий путь.

Все сняли шапки.

— Возвращайся здоровым назад, не задерживайся.

Сын с отцом сели на телегу. Мать ухватилась руками за колесо.

— Сынок, возьми и меня с собой. А не то побегу напрямки полем и догоню тебя!

— Люди добрые, возьмите-ка жену, не то руки себе покалечит.

Люди с трудом оттащили ее от телеги и держали. Телега тронулась.

— Будь здоров, Микола! — кричал народ.

А ночью сидела во дворе старуха мать и охрипшим голосом причитала:

— С какой дороженьки тебя высматривать, на какой сторонушке тебя разыскивать?!

Дочки, словно кукушечки, утешали ее.

Над ними расстилался осенний небосвод. Звезды мерцали, как золотые цветочки на гладком, словно железном, току.

1897 г.

ПОГУБИЛ СЕБЯ

Рельсы убегали вдаль. В уголке на лавке сидел мужик и плакал. Чтоб никто не видел его слез, он прятал голову на вышитой торбе. Слезы падали, как дождь. Падали, как внезапный ливень, который вдруг хлынет, да вскоре и уймется.

Четкий такт поезда, как молот, бил в душу мужика.

— Еще недавно мне приснилось. Будто достаю я воду из колодца, а он на самом дне в таком изодранном тулупишке, что не приведи бог! Вот-вот утонет. «Миколушка, сынок, — будто говорю я ему, — что ж ты тут делаешь?» А он мне отвечает: «Ой, отец, сил моих нет в солдатах служить». Я ему говорю: «Терпи и в ученье вникай, да будь поопрятней». Вот и выучился...

Тяжелая слеза покатилась по лицу и упала на торбу.

— Еду к нему и знаю, что уж не застану его. Да будет ли еще к кому вернуться? Бежала за мной полем, кровавыми слезами молила, чтоб ее взял с собой. Ноги у нее посинели от снега, кричала, как не в своем уме. Но я стегнул лошадей и уехал. Может, замерзла там где-нибудь среди поля. Надо было старуху с собой взять. Что нам теперь нужно? Пускай деньги про-

падают, пускай скотина с голоду дохнет. Таким горемычным, как мы, для чего все это? Пускай суму сошьет, и пойдем, побираючись, в тот город, где будет могила Миколая.

Прижался лицом к стеклу, и по окну полились слезы.

— Ой, жена, то-то дождались мы тернового венка на седые головы! Небось бедняга бьется где-нибудь головой об стену и в слезах бога молит!

Старик всхлипывал, как малый ребенок. Плач и тряска вагона подбрасывали седую голову, как тыкву. Слезы неудержимо лились. Мужику чудился голос его жены, вот она бежит босая и молит, чтоб он взял ее с собой. А он бьет по коням батогом, батогом. Только вопли ее слышны в поле, но уже далеко-далеко.

— Боюсь, что и не застану ее. Положили бы и меня с Миколой в одну могилу, чтобы гнили мы вместе, если не довелось вместе жить. Пускай бы над нами и пес не тявкнул на чужбине, только б нам не разлучаться! Как же он будет один на чужой сторонушке!

Поезд пролетал пространства.

— Вот беда, что вырос крепкий, как дуб. Бывало, что ни возьмет — все горьмя-горит в его руках. Эх, отрубить бы ему одну в малолетстве. . .

Поезд пришел в большой город.

Выходил вместе с людьми. На улице остался один. Стены, стены, а между стенами дороги, а над дорогами тысячи фонарей на один шнур нанизаны. Свет тонул во тьме и дрожал. Вот-вот упадет — и наступит адская тьма.

Но фонари пускали корни во тьму и не падали.

— Ой, Миколушка, мне бы хоть мертвого тебя повидать! И тут мне, сынок, будет аминь!

Сел у стены. Торбу положил на колени. Слезы уже не падали на нее. Стены наклонялись друг к другу, фонари сливались вместе и играли всеми цветами радуги. Окружили мужика, чтоб получше рассмотреть, — он из очень далеких краев пришел сюда. Стал накрапывать дождь. Еще больше съежился и начал молиться:

— Матерь божья, всем добрым людям заступница! Микола милостивый!.. — И стал бить себя в грудь.

Подошел полицейский и направил его в казарму.

— Господин служивый, не тут ли умер Микола Черный?

— Он повесился в ольховой роще за городом. Теперь лежит в мертвецкой. Ступайте по этой улице вниз, там вам укажут.

Полицейский прошел на свой пост. Мужик лежал на улице и стонал. Когда отлежался, пошел вниз по улице. Ноги дрожали, как в лихорадке, и подгибались.

— Сыночек, сыночек, зачем же ты погубил себя!.. Скажи мне, что тебя в могилу загнало? Зачем ты душу свою загубил?! Ой, привезу я маме утешеньице от тебя. Понапрасну пропадем!

В мертвецкой на большой белой плите лежал Николай. Красивые его волосы плавали в крови. Макушка отвалилась, как скорлупа. На животе был крест: накрест резали, так и зашили.

Отец упал на колени в ногах Николая и молился. Целовал ноги сына, бился головой о мраморную плиту.

— Ой, дитятко, мы с матерью свадьбу тебе готовили, музыкантов нанимали, а ты ушел от нас навсегда...

Приподнял труп, обнял за шею и спрашивал, будто советуясь:

— Скажи, сколько панихид по тебе отслужить,

сколько на бедных раздать, только б тебе бог грех простил?..

Слезы падали на труп и на белую холодную плиту. Рыдая, стал обряжать сына в белую рубаху с мережками, вышитым поясом подпоясал и надел шляпу с павлиньими перьями. Вышитую торбу положил под голову, а в изголовье поставил свечу, чтоб горела за погубленную душу.

Такой пригожий, такой красивый парень, в павлиньих перьях! Лежал на холодной мраморной плите и словно улыбался своему отцу.

1897 г.

ПИСЬМО

Политическим заключенным мужикам в сочельник.

В хате было так светло, что бабка Грициха видела каждый следочек пальца Иванка, оставленного им на стене.

Солнце опускалось на лес, стоявший на горе перед хатой, и на его ветвях оставляло все свои сверкающие самоцветы, а лес отражал лучи в окнах хаты.

И лучей было так много в хате, что бабка видела каждый пальчик Иванка на стене.

— Уходи ты, Иванко, чтоб я тебя больше не видела на лавке! Гляди, что со стеной сделал. По полу бегай.

Иванко бегал от порога к столу, возил на нитке катушку; он сказал бабке:

— Не бойтесь, я, ей-богу, не буду.

Возле старухи на печи сидела маленькая Марийка с тоненькой, как мышиный хвостик, косичкой.

«Господи боже, хоть народу и трудно стало жить, а как придут праздники, народ все-таки веселится», — думала про себя старуха.

Лицо все в морщинах, губы синие, высохшие руки, седые волосы, — вот такая старуха.

— Гляди-ка, дядя Василь идут к нам с Миколой Семеновым, с тем, что в школе учится.

— Беги с пола скорей к бабке на печь!

В хату вошел Василь со школьником.

— А у вас, мама, рождество на печи? Желаю вам счастья и здоровья, чтоб вы еще много лет пожили с нами, — поздравлял сын, целуя руку матери.

— Ой, сынок, не до рождества мне! Я, дитятко мое, все дни плачу: и в праздник и в будни, — говорила старуха, и на глазах у нее навернулись слезы.

— А я принес вам письмо от Федора, вчера на почту пришло. Вот Семенов сынок прочтет.

— А что пишет, здоров он иль хворает?

Василь достал письмо из карманчика на поясе, подал школьнику, и тот начал читать:

— «Дорогой мой брат Василь и вы, мама!

Кланяюсь вам и поздравляю вас с праздником рождества и желаю вам всем здоровья. Спел бы вам колядку из тюрьмы, да боюсь, что ветер мою колядку в лесу развеет и под ваши окна не донесет. . .»

Старуха мать залилась слезами, а Василь сидел молча.

— «Как заколядуют здесь арестанты, так и сырые стены обсыпаются и ржавчина с решеток опадает. Как запоют, так даже часовые заслушиваются. И до чего ж в неволе эта колядка печальна и страшна! Всю-то ночь напролет я вспоминал о колядках. Как еще мальчонкой ходил колядовать, а вы, мама, еще отца просили, чтоб отпускал меня. Потом мы, парнями уже,

ходили со скрипочкой колядовать. Бывало, встанем, что лес, под окном. Колядуем, а скрипочка плачет, как дитя. Мы еще громче, а скрипочка не отстает, и никогда мы ее не могли переколядовать. Вот и теперь слышу, как эта скрипочка плачет, будто вот где-то здесь плачет. . .»

— Ой, сынок, сынок, осиротил ты детей, — шептала старуха.

— «Но порой, мама, так страшно в этих стенах, что нет больше моих сил на нарах лежать, идешь к другому, а не то, кажется, так бы и умер. Как вспомню Настю, ведь она из-за меня в могилу пошла и моих детей совсем осиротила, так сердце кровью обливается. А сквозь решетки видны звезды. Я гляжу на них, и кажется мне, что большие звезды ведут за собою меньшеньких. И думаю: большая — это Настя, поменьше Марийка, а за ней Иванко, а это Василько. . .»

— Ой, сынок, не сокрушайся так! — вскрикнула старуха, словно Федор не писал, а говорил с ней.

— «И все мне представляются похороны Насти. Идете вы, идут дети за гробом, идет народ. А ветер хоругви развевает и спрашивает: «А куда девался муж этой женщины?» Рваная хоругвь ему отвечает: «В Станиславе, в тюрьме!»

— Ой, замуровали тебя, сынок, в неволе, — горько вздыхала старуха.

— «Я хотел неправду выкорчевать, а они меня с корнем вырвали, жену убили и детей пустили по миру. Прошу тебя, брат Василь, и вас, мама, о детях моих позаботиться. Голову им в субботу вымойте, а в воскресенье чистую рубашку наденьте, чтоб они грязные не ходили, чтоб вша их не ела, а пуще всего,

чтоб вы, мама, за маленькой, за Марийкой приглядели, чтоб она, малышка, рубашонку не слюнявила и не плакала, а то слюна грудку ей разъест. Сами знаете, когда сирота плачет, все ангелы плачут. . .»

— И по субботам я головки твоим деткам вычесываю, и каждую неделю рубашонки им стираю, проливая над ними свои старые слезы, — отвечала старуха.

— «А ты, брат Василь, позаботься о моих парнишках. Не пускай их ходить, прикрывшись мешком, по дождю, а сшей ты им сардачки[1], научи их уму-разуму, как бы это я сделал, и не пускай их по миру, вырасти из них хороших хозяев и наказывай, чтоб отца и мать своих не забывали, сам знаешь, отец их не был лодырь, а за правду стоял. . .»

— Ой, Федор, не пущу я по миру твоих ребятишек, а научу их, как отец родной, — говорил Василь.

— «А мою полоску поля засейте пшеницей, там земля хорошая, недавно унавожена. И поступайте так, чтоб детям моим обиды не было; думаю я, что мне отсюда уже не выйти. И пишите мне сюда про все, что дома делается.

Кланяюсь тебе, брат, и вам, мама, и детям моим.

Федор».

Старуха рыдала навзрыд, и дети за ней.

— На-ка тебе крейцер, возьми и не плачь. Слышишь, что отец говорит, надо бабку слушать и не озорничать, — говорил Василь Иванку и дал ему новенький крейцер.

1897 г.

---

[1] Сардак — теплое суконное платье, расшитое шнурами.

В КОРЧМЕ

За длинным столом сидели Иван и Проць. Перекидывались через стол крепкими словами и, склонившись, слушали, о чем толковали за столом. Жаловались и пили. Проця била жена, а Иван учил его, как стать господином своей жены.

— Ого, да расшиби паралик того быка, которого корова бодает! — сказал Иван. — Тронь только меня жена хоть мизинным пальцем, тут ей и конец. Я б ее, как моченое яблоко, расплющил! Эх ты, да ведь это ж срамота на весь свет, чтоб жена мужа лупила, словно коня! Я бы ее скоро образумил, так образумил бы, что забыла бы, как и по земле ходить. Отточил бы топор на точиле да руки б ей по локоть и отхватил. Только раз, два — и руки напрочь!

Сказав это, Иван взмахнул руками, словно собирался взлететь. Откинул голову назад, уставился глазами на Проця и ждал, что тот ответит.

Проць покачал головой, и ничего бедняга не ответил. Да и что скажешь, если все правда.

— Эй ты, шинкарь, не качайся над книжкой, как висельник на осине, а давай-ка, брат, горилки. Я плачу, а ты давай, а не то — мне тюрьма, а тебе смерть. Не торгуйся, наливай-ка браги. . . — кричал Проць, стуча кулаком по столу.

Шинкарь смеялся, наливая водку. Мужики опять стали пить. Наклонялись друг к другу и отклонялись, словно две ветки под легким ветерком.

— Ты думаешь, — сказал Иван, — я стал бы дожидаться жандармов, пока меня заберут? Только б руки ей отрубил, — сардак на плечи и прямо в суд. Срам не срам, а сказал бы панам-судьям, что жена

меня била, а я ей руки оттяпал. Может, какой денек и посидел бы, а может, и часа бы не пришлось...

И снова пили водку. Так горько пили, так морщились, точно кровь свою пили.

— Проць, браток, гляди, пьем горилку, ты меня угощаешь, и пьем это свой труд, кровь свою пьем. Шинкаревых выродков выкармливаем. И советую тебе, от всей души тебе наказываю, приструнь ты жену, чтоб она на тебя рук не поднимала. Пойми, да ты ж посмешищем стал на селе, жена тебя бьет, а ты духу ее боишься! Хозяином надо быть! Я такую бабу живо взнуздал бы, в ступу запряг да проволочную плеть с гвоздя — и проучил бы!

Иван достал деньги и хотел заплатить за водку, но Проць смахнул их на пол: так рассердился.

— Иван, что ж ты меня, брат, без ножа режешь? Мне охота тебя угостить, ты ж меня, как говорится, словно мать родная добру научаешь. Не тычь ты мне деньги, а пей.

И снова пили.

— А то поговори с ней по-доброму. Как придешь домой, скажи так: «Эй, жена, ты где мне клятву давала? На навозной куче иль в церкви! Раввин нас женил, или поп венчал? Ты на меня руки подымаешь, а я тебе ручки отрублю. Неси-ка скамейку да топор, мы с тобой посчитаемся...» Так ты ей и заяви, может, и настращаешь...

— Иван! Ты, голубчик, видать, жены моей не знаешь. Она такая лютая, что и палача не побоится. Я иной раз хочу дать ей острастку, так она, что под руку ей подвернется, так в меня и врежет! Чтоб ее доктора так после смерти резали! «Ты, говорит, пропойца, что тебе на глаза попадется, все в корчму

тащишь, да еще надо мной измываться хочешь?» И скажу я тебе, Иван, она меня так бьет, так дубасит, что впору из хаты бежать. А может, бог даст и без меня у нее руки отсохнут, может, вымолю я это у бога...

— Надейся на бога, надейся, дурень, а она будет бить, пока душу из тебя не вышибет. Такой, видать, ты хозяин над своей женой, как вербовая чека в ярме. Да на такого хозяина и плюнуть противно!

Проць закашлялся, даже посинел. Иван грыз кулаки и скрипел зубами на всю корчму.

— Эй, шинкарь, поди-ка сюда! Ты — ученая голова, потому и шкуру с нас дерешь; скажи ты мне, есть такой закон, чтоб жена мужа била? Есть такое право? Ты все книжки читаешь, вон у тебя даже глаза гноятся, так где-то там это право должно быть! Коли цесарь такой закон написал, пускай и я его знаю. Коли цесарь такое право дал, так пускай и моя меня бьет. Сложу руки на груди, а она пускай дубасит. Раз закон цесарский, то должен быть цесарский!

Шинкарь ответил, что такого закона не вычитал. А Проця уговаривал итти домой, а не то жена будет ругать.

Проць плюнул, вытаращил глаза и долго смотрел на шинкаря. Хотел обругать, но одумался и встал с лавки.

Идучи домой, горланил на все село:

— Уж коли не боится, так ни синь пороха не боится...

Но руки ей обрублю, как вербу обкорнаю! На что ж это похоже? Тишь и благодать была, аист на хате жил, а как пришла, что сталось? Пташка — и та на хату не сядет. Где ж, где ж этому конец?

Слышно было, как Проць напевал: «Где, где-е да где же этому конец?»

Подходя к дому, он стал затихать, а у ворот и совсем умолк.

1897 г.

СВЯТОША

Семен с женой, вернувшись из церкви, обедали — мокали холодный кулеш[1] в сметану. Муж ел так, что глаза на лоб лезли, а жена ела чинно. Муж брызгался слюной, и жене все время приходилось утираться рукавом. По привычке чавкал, и брызги слюны летели в глаза, как песок.

— Прикрой хоть немножко свою пасть, хлеба нельзя съесть! . .

Семен ел и громко чавкал. Хоть жена малость и кольнула его этим словом, но он продолжал таскать сметану из миски.

— Чавкает за четырех свиней. Боже мой, какая ж у тебя противная, отвислая губа, как у старой клячи.

Семен все молчал: чувствовал себя немного виноватым, а во-вторых, ему хотелось хорошенько поесть. Наконец встал и перекрестился. Вышел во двор, дал свиньям пойла и, вернувшись, хотел прилечь.

— Гляди, набил брюхо и завалился, как колода, поди-ка, и нос свой никуда не высунет! Гниет вот так каждый праздник и в воскресенье тоже.

— Ты что ко мне цепляешься? Ой, гляди, я так зацеплю, что и не расцепишь. Я покажу, как цепляться.

— Я б тебя каждое воскресенье поедом ела.

— Эх, не дал бог свинье рог. . .

[1] Кулеш — каша из кукурузной муки.

— Стоит в церкви, как баран недорезанный. Другие мужики, как мужики, а он замызганный, что холера. Со стыда сгораю за такого мужа.

— Ой, то-то, бедная головушка, не попаду в царство небесное! Намаешься за целую неделю, да еще в церкви стой и тянись! Постой уж ты за меня, а я и так божье слово послушаю.

— Ой, и слушаешь ты слово божье! Ни буквочки не понимаешь из того, что говорит поп на проповеди. Стоишь посреди церкви, как лунатик. Посмотришь, а он глазами уставился в потолок, рот распахнул, как ворота, слюна изо рта тянется. А я гляжу, и от стыда земля подо мной горит!

— Отстань ты от меня, святоша, дай хоть чуточку глаза сомкнуть. Тебе бы только болтать, а я с ног валюсь.

— А ты не стой в церкви, как пень. Только поп начнет по молитвеннику читать, а ты сразу глаза выпучишь, как луковицы, и мотаешь головой, что конь на солнце, и пускаешь слюну тоненькими ниточками, словно паук паутину, — только что не захрапишь в церкви. А моя мама говорили, что это нечистый войдет в человека и клонит его ко сну, чтоб он не слушал слова божьего. Да у тебя нет бога, ой, ей-богу, нет!

— Тьфу ты, чтоб к тебе чорт прицепился, а не ко мне. Вот святоша! Ты думаешь, как записалась в какое-то архиримское[1] братство, то стала святой? Да я тебе шкуру так распишу, как в книжке, строчками, только синими... Сошлись бабы в братство! Да где это видано? Одна родила в девках, другая — вдовой, третья — без мужа, — самые порядочные сошлись! Да

[1] Архиримское — архиерейское.

если б монахи знали, что вы за птицы, так вас бы палкой из церкви погнали. Гляди, какие святоши, только хвоста сзади нехватает! Книжки читают, иконы покупают, так в рай живыми и рвутся.

Семениха даже затряслась и заплакала.

— Зачем меня брал, коли у меня был ребенок! Вот тоже долю себе вымолила. Да за тебя бы и сука не пошла, за такого вола немытого! Моли бога, что я с тобой свою жизнь связала, а то ходил бы так до гробовой доски.

— Дурак был, польстился на землю, вот и взял ведьму в дом. Я теперь и свою бы отдал, чтоб только отвязаться от тебя.

— Ой, не отвяжешься! Знаю я, тебе хотелось бы еще и вторую взять с земелькой, но нет, не бойся, меня не загрызешь и не добьешь. Назло буду жить, и должен ты на меня смотреть — и все тут!

— Да живи ты, хоть до светопреставленья...

— И в братство буду ходить, и ничего со мной не поделаешь!

— Ой, не быть тебе в этом братстве, разве что меня не станет! Я эти книжки расшвыряю, а тебя свяжу. Уж больше ты мне не будешь приносить разуму от монахов...

— Ой, буду, буду — и только!

— Лучше отстань от меня, а то возьму грех на душу, и тебе не сдобровать!

— Мамка, мамка, и что ж ты отдала меня за этого изверга, и за что мою жизнь загубила! Гляди, в воскресенье бить собирается!

— Вот клятая баба, я, что ль, затеял перебранку? Подумайте только, что это за святоша. Ну, голубушка, коли так, то я тебя малость укрощу, я тебе язычок-то

малость укорочу. Из-за этой святоши хоть из дому беги! Вот беда, но бить буду!

Семениха побежала во двор, но муж поймал ее в сенях и стал бить. Должен был бить.

1897 г.

ВЕЧЕРНЯЯ ПОРА

Не мог присесть, так и гнало его что-то от стены к стене. Шагал и шагал. Обстановка и углы комнаты стушевывались и пропадали в вечерних сумерках, а в голове все яснее и яснее вырисовывались картины далекого прошлого.

«Сейчас такое время, когда ребятишки выбегают из хаты на выгон и играют весело и задорно. В эту пору девчата не хотят загонять скотину домой, говорят, когда вечерняя звезда появляется на небе, то голос по росе стелется, — и поют, чтоб голос стелился. А зимой в эту пору матери прядут кудель и поют свои девичьи песни, да так заунывно, словно тужат по своей молодости. Дети собираются в кучку и шепчутся на печи и засыпают без ужина. Какая-то необыкновенная эта вечерняя пора».

Ходил и тер лоб рукой, точно хотел все свои мысли удержать в голове, чтобы не вылетели, чтоб еще и еще передумать их.

«Ну, как не знать, что он делает? Такой хороший товарищ был. Прекрасно помню, как мы однажды сидели у него в саду. Может, тогда он и говорил о тех белых облаках. Белое облако, — говорил он, — с золотыми краями плывет по небу и рассыпает за собой белые лилии, а само плывет дальше и сеет, сеет эти цветы по синему небу, — а пройдет час, и нет ни об-

лака, ни лилий. Только голубое небо зарябит, как голубое море. Верно, он тогда о чем-то тосковал».

Ходил, и глаза его становились такими ласковыми, как у ребенка.

«А вот конец я уж и забыл. Приходит время, что и песни матери забываешь! А еще недавно помнил. Вот... В сенокос мы с Марийкой овец пасли в поле. Марийка вышивала на рукавах узоры в виде фасолек. Фасольки вышивала красным, хвостики синим, а полоски между фасольками обводила черным гарусом. Овец приходилось загонять мне: Марийка была старшая. Но была у нас одна белоголовая овца, да такая противная — бывало, ни одного колоска не пропустит. Но я снял поясок, и мы ее спутали. И стало спокойно. Я бегал распоясанный под вербами и свистел, и кричал на все поле. А потом Марийка позвала меня есть. Ели мы хлеб и творог с капустного листа...»

И вот сидел в мягком кресле, и воспоминания далекого детства уносили его, как во сне, на какие-то поля, усеянные яркими цветами, и цветов было так много, что можно было их рвать, рвать...

«Потом пришли к нам мама. Возвращались с поля, носили обед работникам. Принесли и нам молока. Рассматривали Марийкино вышивание и наказывали ей никогда не шить в три нитки, а только в две за иголку, — а не то фасольки будут пузатенькие. А мне сказали, чтоб не катался с горы, а то рубашку разорву или живот себе покалечу.

«Ты, парень, не гоняй, что конь по полю, распоясанный, а сиди около Марийки и стерегите овец». Я лежал около мамы, бил ногами по траве, а мама говорили: «Минутки ты не можешь посидеть спокойно?» В это время спустился аист на болото, почти рядом с нами. Мама взяли меня, посадили на колени и запели:

Ой, не коси, бузьку, сіна,
Бо ся зросиш по коліна.
Та най тота чайка косить,
Що набакир шапку носить.

Напрягал память, хотел вспомнить конец песни и не мог. Глаза опечалились.

«Вот, вот... Мама пошли домой, а я до вечера гонялся за аистом и напевал: «Ой, не коси, бузьку, сіна...»

Забегал по комнате, как мальчишка, который хочет перескочить овраг и каждый раз у самого края останавливается. Повторял громко первые строки песни и никак не мог вспомнить дальше. Вздохнул, и темные впадины вокруг глаз стали еще темнее.

«Боже мой, я уже не могу связать той нити, что оборвалась! Она оборвалась еще тогда, когда мама вымыли мне ноги и разорвали старую рубаху на онучки, а отец обтирали сапожки. Все мы тогда плакали, меня отправляли в люди, в ученье.

И ходил я по этому миру и гнулся, как лоза, из-за куска хлеба и чувствовал на себе сотни надменных взглядов».

Махнул рукой, словно хотел отогнать эти надменные взгляды.

«После долгих лет я приехал к маме. Отца уже не было. Сгорбленная, старенькая, с клюкой в руках, они сидели на завалинке и грелись на солнце. Не узнали. А потом обрадовались и заговорили: «Наша Мария, сынок, умерла. Я тебе не писала, чтоб ты не горевал. А как умирала, так все о тебе допытывалась. Мы ее уверяли, что ты вот-вот приедешь. А в тот самый день, когда умерла, все говорила: «Хоть бы увидеть его в оконце, хоть бы через порог увидеть». И умерла. — Вот так рвалась эта нить...»

Бессознательно повторял песню матери: «Ой, не коси, бузьку, сіна. . .»

«Пошли мы с мамой на кладбище. Мама еле доплелись. «Гляди, сынок, вот могила Марии. Я уже посадила руту и барвинок и крест велела покрасить, только вот вишенки еще не посадила, по осени посажу». Сели мы у могилы, и мама рассказывали мне о Марийкином горе. Муж злой, дети малые, нужда в доме. Ветер сдувал с вишен белый цвет. Он падал на могилы и на нас. Казалось, что белые цветы сливаются с седыми волосами матери и что роса с них падает на мамино лицо. А я вспоминал, как мы с Марийкой пасли овец. . .»

Жгучие слезы упали на стол.

«А потом умерли мама. Могила их недалеко от Марийкиной. Цвет с маминой вишенки падает на могилу Марии, а с могилы Марийки на мамину. Однажды я был там. Сидел между этих могил, и вспомнилась мне мамина песенка. Но конца ее так и не вспомнил. Посидел я там и пошел. А цвет вишен с могил летел за мной, словно тем цветом сестра и мама просили, чтоб я не уходил. . .»

Долго еще шагал по комнате и бессознательно шептал:

Ой, не коси, бузьку, сіна,
Бо ся зросиш по коліна.
Та най тота чайка косить,
Що набакир шапку носить.

1897—1898 гг.

ЗАСЕДАНИЕ

Выборные постепенно сходились в канцелярию. Прежде чем войти в хату, каждый сморкался в сенях, утирал нос полою кожуха и еще поправлял ладонью.

Так каждый входил на заседание. «Славайсу!» — «Вовеки слава!», и садился на лавку, тянувшуюся вдоль стен хаты.

Половина выборных была в сборе, старшие сидели ближе к столу, а кто помоложе — подальше. В углу, у печки, были сложены друг на друга сенники, а около них черная жестяная банка. Это была больница. Один или два раза в году доктор писал общине письмо, что такого-то и такого-то числа он будет в селе, и староста звал к себе полицейского Тому.

— Так вот, голубчик, завтра ты должен навести порядок в канцелярии, видишь, доктор прислал письмо, что приедет. Надо поскоблить малость пол, посыпать его песком, разложить сенники по полу, накрыть их мешками, а из банки полить этой вонючей водой по углам... и отведем глаза. Есть предписание, что должна быть больница под холеру, значит, должна быть!

И так полицейский один или два раза в году превращал канцелярию в больницу... А когда после выборные собирались на сходку, то чихали и говорили: «Ну, и паскудно ж воняет!» Те, что служили в солдатах, говорили, что, видно, доктор делал «уперацию» и усыплял, оттого оно так и крутит в носу. А Павло Дзиньо прекрасно себя чувствовал. На сходке он все время дремал. А когда выборные чихали от больничной вони, то говорили:

— У Павла слабая голова, мы только чихаем, а он все спит. Надо сказать доктору, чтоб не усыплял нам выборных, не то сходка будет впустую.

Павло не оправдывался, а только смотрел перепуганными глазами на выборных, и лицо его становилось еще чернее, чем было. Все на сходке его считали за придурковатого — и потешались над ним.

Теперь выборные сидели на лавке и разговаривали медленно и лениво. Каждый сидел, как привык и как ему было удобнее. Иван Плавьюк, который был старше всех и сидел у самого стола, склонился на живот, сложил руки, как на молитву, просунул их между колен и плевал, покуривая трубку. Ладони, нос и колени были рядышком. Вот так он сидел и рассказывал о ярмарке:

— И не говорите мне о нынешних ярмарках. Лавочники с панами весь свет захватили. Кто продает? — лавочник, кто покупает? — пан! А народ так, изредка что-нибудь плохонькое продает. Телку, коровенку — и все вроде этого, а волов — совсем мало.

— Да, трудненько стало! А каждый про себя думает: «Куплю телочку, выращу — там мякины заварю, тыквы подкину, а, гляди, оно и прирастет что-то обернуться в хозяйстве». Тугие времена настали!

— Правда тугие! В старину, бывало, попы на народ цыкали, чтоб не пил, чтоб попусту денег не тратил, а теперь, вишь, народ и не пьет, и денег не тратит, а крейцера все равно не видит. Совсем обнищал народ, редко кто и на пасху сало ест. Ой, трудно, скажу я вам; как из камня этот крейцер выколачиваешь!

— Все переменилось. Давненько этого скота не видать. Теперь скот самый разношерстный — тирольский, а прежде был белый-пребелый. Я еще не больно старый хозяин, а за женой взял двух таких белых волов, как снег, да с такими рогами, что в ворота не пролезали. Бывало, бегут, что кони. Когда ездил в город, так я их взнуздывал. Говорили, что то был скот венгерской породы, как об этом говорят, что тирольский. И скот был тогда куда дешевле, ку-да!

— Дешево продавалось, и дешево покупалось, но было лучше. Да ведь не только скот другой стал, а

свиньи прежде какие были? Были всякой масти, и шерсть на них длинная, и на слабых ножках, а теперь только белые и гладкие. Как станешь на свином рынке, так весь он, как белым цветом, ими усеян. Но только одни барышники толстопузые среди них похаживают.

— А видно, есть всякая порода. Люди разве все одинаковые? Как-то был я в Коломые и вижу — идет этакое, господи прости, как чорт! Лицо и руки совсем черные. Думаю: станет вот этакий ночью на мосту, то каждому придется потом воду святить. Ей-богу, правда! Шинкарь говорил, что есть такие люди на свете.

— Да уж это верно, есть всякая порода. Вот мой Василь, когда служил в солдатах в Ене, то рассказывал, что видел таких свиней, что ни ушей, ни рыла, ни ног не видно, только одно туловище.

— Всякое есть на свете, а горя больше всего...

Пришел староста, и разговор прервался.

— Что слышно в городе, староста?

— Эх, кабы денежки, так и в городе было бы хорошо. Гляжу, паны заходят в ресторацию и пьют и едят самое что ни на есть лучшее и при денежках. Этак хоть бы на недельку обернуться в пана! — сказал староста.

— Оно смотря в какого пана. А то есть и такие, что на соломе спят и зубами вшей щелкают. Сверху жилетка, а рубахи нет. Только приткнет на груди кусок полотна и нарядился! Немало таких голодных, что рады б и лепешку из жмыхов есть, — сказал Проць, служивший когда-то на барском дворе.

— Да еще был я у секретаря из-за того выгона. Что-то он мне там несусветное нес: «Лучше б, говорит, в вашем селе мужики поменьше газет по почте выпи-

сывали. Это, говорит, одно надувательство. Мужиков, говорит, очень много. Если даже двадцатая часть из них даст по леву за газету, то наберет огромные тысячи, и все зря, попусту. Этакий панок, говорит, сам все напишет, туману напустит, подмажет, пригладит, а мужики-дураки, говорит, читают и облизываются, что, мол, панская земля народу перейдет».

— А вы, небось, стояли да поддакивали? — спросил молодой выборный Петро Антонов.

— А как же, схватился с ним за грудки из-за какого-то там проходимца, который дурачит людей! Правильно поп из Грушовой сказал, что народ поддается на подстрекательства всяких арестантов, а после, говорит, случись что, они скрылись, а глупый мужик сидит по острогам. Мало, что ль, погубили да покалечили?! Только не люблю я, когда мне кто-нибудь под нос тычет. Разве я мирское дело продал или предал? Разве я лезу в старосты? Выбирайте кого хотите, мое дело сторона.

— Вы бы лезли, да мы кричим: долой. Вы бы еще и детям домой колбаски [1] принесли, — говорил Петро Антонов.

— Молчи! — закричал староста, — молчи, а не то прикажу заковать тебя, сопляк! Вы поглядите, мужики, свиней, что ль, я с ним пас?

— Вы мне нос не утирали, а на мой разговор можете так же поддакивать, как и секретарю.

Ссора начала переходить в драку, и старик Иван вмешался в дело:

— Ты, голубчик Петро, не будь больно умен, небось знаешь, что младший должен смолчать перед

---

[1] Колбасой в Галиции польские паны угощали темных крестьян, чтоб привлечь их на свою сторону.

старшим. Разные люди есть, один ничего не боится, а другой, гляди, и боится. Я сам, мужики, за мирское дело стоял и стою, но, ей-богу, на ваше собрание не пришел бы. Как-то по осени был я в городе. Встретился мне лесничий и говорит: «Подите на собрание и хоть под старость посмотрите, как мужики объединяются». А я ему и отвечаю: «Нет, не пойду. Оно хорошо, что объединяются, потому, как говорится, община — великое дело, но я не пойду. Я, говорю, состарился и поседел, но в тюрьме еще и часа не сидел. А теперь, на старости лет, нужно мне это бесчестье? И сдается мне, что каждое малое дите на селе пальцем показывало бы: «Гляди, дядя Иван и в остроге сидел!» Не пойду и не пойду! Мой Микола ходил, а я не пойду».

Старик Иван кое-как прекратил ссору. Но злоба все-таки осталась.

— Мы всё болтовней занимаемся, а вы, староста, не говорите, зачем нас созвали? — спросил Иван, чтоб ссора не возобновлялась.

— Больше я вас сзывать не буду, только бы отбыть мне свой срок. Плюю я на должность, выбирайте себе сопляков в старосты.

— Ну, ну, вы думаете, мы старосты не найдем? Да мы из нашего села на всю округу старост поставим, — не спускал Петро.

— Вот церковный староста хочет что-то сказать собранию.

Церковный староста, Василь, обратился к выборным:

— Вот не припомню, то ли в четверг, то ли в пятницу прибежал ко мне сынишка писаря. «Ой, говорит, дяденька, я видел, как старуха Романиха из-под церкви доску несла». Пошел я на другой день к церкви и

аккурат одной доски нехватает. Это еще из тех, что от колокольни остались. Оно правда, доски трухлявые, но как же это церковное растаскивать? Глядите, такая старая женщина и на чужое зарится. Пошел я к священнику и рассказываю, а священник говорят, что надо огласить на собрании, а то, говорят, как же так церковь обкрадывать! Я бы ничего не сказал, пес с ним, если бы оно было мое, но церковное, его надо охранять, — жаловался Василь.

Все выборные молчали. Кто бы мог подумать, что старуха Романиха — и воровка. Никогда на селе об этом и слыхом не слыхали, чтоб она воровала.

Через минуту вошла Романиха. Оборванная старуха с изможденным лицом. Встала у дверей и быстро заговорила сквозь слезы:

— Я, мужики, украла эту доску, да, украла, чтоб вы знали, как мой сын на старости обо мне заботится. У меня в хате и пучка соломы нет, чтоб хоть подымить. Сижу на печи и замерзаю. Всему селу и шью, и пряду, аж пальцы одеревенели. Глаза гноятся. Еще прокормиться своим шитьем могу, а уж на топливо крейцера нет. Да я своему сыну всю свою хату отдала, только один уголок себе оставила, а он даже раз в месяц ко мне не заглянет. Хоть бы вошел: «Ну, мол, чорт иль дьявол, как поживаешь?!» Нет, куда там!

— Но как же церковное воровать? Век ваш не долог, бабка, помните, и на тот свет надо что-то принести. Вы — старуха, и я не велю вас ни запирать, ни бить, дайте только один лев[1] на церковь и ступайте себе с богом, но чтоб больше я не слыхал ни о какой краже, — судил староста.

---

[1] Лев австрийский — около одного рубля.

Романиха вскинулась, как ошпаренная.

— Ой, староста, да хоть бы мне умереть, так за душою лева нет! Откуда ж у меня лев, откуда, отку-да?!

— Обязаны, — был ответ.

Выборные молчали. Слыхали, что старуха бедствует, и знали, что лева у нее нет. Но украсть — украла, да еще из-под церкви! Хотели было сказать, чтоб она выплачивала понемножку, по шустке [1], по две, как заговорил Петро Антонов:

— Я думаю, люди добрые, что не надо бы такую бедную вдову наказывать. Вдовиным левом церковь не согреть. Говорят, будто в старину церкви проваливались, и на том месте получались бездонные озера. Если б таких, кровью заработанных, вдовьих левов набрать да сложить в церковную кассу, то, пожалуй, ни одна б церковь не выдержала вдовьих слез. Это, пожалуй, было б не по правде. Вместо того чтоб церковь старухе помогла, она еще будет брать у старухи этот несчастный лев. Я как-то ходил к бабке за пряжей. Вхожу, а в хате холодище, как в мужицкой конюшне. На шестке горит каганец с пшеничное зернышко, и это всего-навсего огня в хате. Старуха сидит и мнет пальцы, а они как деревянные. А по-моему, мужики, вам бы не следовало заставлять ее платить.

Староста злобно взглянул на Петра. У выборных словно камень с сердца свалился. Все в один голос заговорили, что не надо брать со старухи лева. И старик Иван сказал: «Да сохрани господь!» Велели позвать сына Романихи, и старик Иван принялся журить его:

— Эх ты, человече, она ж тебе на поле под кустиком прохладу искала. Она ж на тебя и стирала, и ла-

---

[1] Шустка — мелкая монета в 20 копеек.

тала, и плакала, когда ты в солдаты уходил, а ты и пучка соломы ей не подбросишь? Эх, будь я старостой, я б тебя навсегда в цепи заковал! — говорил Иван.

1898 г.

НО ДОРОГЕ ИЗ ГОРОДА

Первый:

— Одного только полотна больше полсотни кусков после смерти осталось. Такого богатея поискать надо. Хлеб по десять лет стоял не обмолоченный — вот было добра! А деньжищ сколько?! Да покойник что ни год продавал пару волов за четыреста левов. Куда девались эти деньги, куда девалось все это добро? И неведомо, кто этими деньгами руки погрел? Пришла смерть — все должен был оставить!

Бывало, придем к нему колядовать. Выколядуем, сколько выколядуем, а он еще выйдет из хаты и: «Пожалуйте, братья, в хату, хочу отблагодарить вас хорошенечко за колядки». Входим в хату, усадит за стол и говорит: «Принимайте все, как есть, кабы я не вдовец был, то жена бы все приготовила, как полагается, а теперь жена, вечная ей память, в могиле, так уж не взыщите». И сам нас угощал. Бывало, разложит караваи, что твои жернова, да белые, как снег. А сала принесет в ладонь толщиной. Такого теперь и в мясном ряду не сыскать. А горилки было столько, что хоть залейся! Так, бывало, пьем, едим, а он только потчует, как на свадьбе: «Пейте, братья; коль нехватит, еще принесу. Пейте вдосталь у старика!» И пьем, и колядуем старику:

Будь же нам здоров, пане Максиме, в неділю,
В неділю рано дзелене вино сажене.

Віншуєм тебе щастям, здоровъям в неділю,
В неділю рано дзелене вино сажене.
Чесний, величний, а в бога вдячний в неділю...

А после того как отколядуем, он пьет ответную чарку нам и утирает слезы. «Когда жена моя, говорит, жива была, то вы и ей колядки пели, а теперь некому колядовать и некому старику рубаху выстирать. Я, говорит, не знаю, в какой угол броситься, где головушку преклонить?» Так, знаете, нас слеза и прошибает, как он начинает о своем одиночестве рассказывать. И мы не раз сиживали часа по три у Максима. Бывало, соберемся уходить, а он не пускает. «Всего, говорит, у меня вволю — и есть и пить, как говорится: и хлеб и к хлебу, так гуляйте еще; поверьте старику, как умру, то в этой хате вам больше не гулять. Только меня, говорит, землею засыплют, мой Тимофей все спустит — все дочиста. Я, говорит, стар, чтоб врать, а вы, молодые, поживете и увидите». Гляди-ка, так оно и сталось, как покойный предсказывал.

Второй:

— Как-то пономариха в поле рассказывала, что он, покойничек, не любил в корчму ходить. Только, говорит, раз либо два в год подпоясывался, клал в потайной карманчик на поясе пятерочку и айда в корчму! Правда, хоть и не любил ходить в корчму, но уж ежели пришел, то и сороки, и вороны пили — пил всяк, кому была охота! А далеко за полночь возвращался домой, уже здорово подвыпивши, так что все соседи, говорит пономариха, знали, что он домой идет. Станет, бывало, у себя в воротах и кричит: «На сирот, на бедных откажу, а ему и нитки не оставлю!» И шел к себе на завалинку. Когда был пьян, никогда не входил в

хату, будь то зима, будь лето, — всегда на завалинке спал. И рассказывают, будто тут на завалинке приставала к нему какая-то нечистая сила и мучила. Стонет, стонет, будто скотина, да как вскочит с завалинки и вокруг хаты бегает, бегает и кричит: «Разбойники, воры, почто мой труд растаскиваете?!» И вижу, схватит кол и бегает вокруг всего хозяйства, как пес за ворами. Глядишь, а он опять на завалинке дремлет, а через минуту опять так орет, что ушам больно. «Шинкарь, эй, ты! Зачем корову из хлева выводишь?! Да я из тебя дух вышибу!» И опять бегает, как полоумный, по гумну. И пономариха рассказывала, что этак целую ночь носило его и мучило. Спит на завалинке и сквозь сон кричит: «Глянь, глянь, уже с торгов продают, опечатывают, уже в бубен бьют, народ сзывают!» Видно, оно и правда, что он еще смолоду душу нечистому продал. И в скотине он толк знал, коровы у него по целому подойнику молока давали.

Третий:

— Помню, вскоре после смерти Максима у меня заболел мальчик. Думаю: «Надо какого-нибудь лекарства поискать! Умрет, не ровен час, а хоронить неведомо в чем и на что». И пошел я к нашей знахарке, Касьянихе. Тут же она и пришла, пошептала над мальчонкой и, знаете, как та почта — села и давай рассказывать. Ходит по селу, вот и знает, где что творится. И рассказывает жене: «За неделю до смерти был у меня Максим». Слушаю и я. «Понимаете, еще, говорит, и не рассветало, когда пришел. Услыхала я, кто-то дверью скрипнул, вскочила и думаю: «Верно, роды у кого-то». Смотрю, а это старик Максим. «Ты, бабка, еще спишь, — будто говорит ей покойник, — а

уж день на дворе». — «Что ты, где там, говорит, день!» Сел на скамью и такой, словно подменил его кто. «Ты, — говорит покойник, — знахарка, так растолкуй мне сон. В самую, говорит, полночь приснилось мне, что выхожу будто я из хаты во двор, а с полудня поднимается черная туча, да такая синяя-пресиняя по краям! Думаю: «Вот-вот быть граду, ой горюшко, весь хлеб побьет!» Пошел в сени, вынес лопату и кочергу и положил их крест-накрест. Да только я положил крестом, смотрю, а из-под угла вода пробивается. Стою я и диву даюсь. Э-э, а вода-то из-под другого и из-под третьего, да из-под всех ключом бьет! Испугался я, глянул на ток, а там вода играет, как в половодье на лугах. Побежал я за лопатой, спускаю будто эту воду в пруд, а она уж, вроде, снопы илом заносит, конюшни подмывает. Откидываю я снопы, вспотел весь и проснулся. Ты — знахарка, так растолкуй, говорит, мне сон, к чему эта вода?» И говорит Касьяниха: «Что я ему сказала, то сказала, но он через неделю-таки умер». Вот так-то эта ведьма и помогла Максиму, как и моему парнишке. Ну уж, кабы я ее повстречал, изуродовал бы, как суку! И деньги взяла, и водку пила, а мальчонка в три дня и под образами!

Первый:

— Видать, был вещун, все исполнилось, что предсказал. На его дворе как раз теперь вода кружит! Ни зерна в закромах, ни скотины: Тимофей все разбазарил. Все хозяйство, как водой, унесло.

Второй:

— Раз уж при жизни он не взлюбил сына и доброго слова ему не сказал, то и сын как дорвался до богатства, такое там напутал, что и концов никому не найти. Банки, векселя какие-то, шинкари и всякая

всячина. Пропадает на корню. Да, знаете, Тимофей и не пьет, а вот все у него как-то из рук валится. Один бог знает...

Третий:

— А слыхали, какой у Тимофея раздор с женой? Видно, добьет он ее. Как-то еще по осени приехала к нему комиссия из банка и говорит: «Либо деньги, либо пустим имущество с молотка». Крутился, крутился да к жениному наделу. Глупая баба возьми да и подпишись у нотариуса и дай свою землю продать. Вроде, говорят, получила какой-то вексель, а теперь этот вексель боком выходит.

Первый:

— Ой, верно, что дура! Вторая жена, и детей у нее нет... Вот случись с мужиком какая беда, и ступай, баба, по миру. Дети от первой жены тут же и выгонят. И ищи, баба, права, неведомо где и как?

Второй:

— Да она, знаете, дала этот вексель брату, пришел срок платежа и прижимают. И теперь, не дай бог, такое там творится, что и птица на хату не сядет. Как узнал, что вексель уже в городе, примчался оттуда и, коней не распрягая, влетел в хату и к жене: «Где вексель?» — говорит. «Ой, я отдала брату!..» — «Кто ж у тебя муж — брат или я?» И так бил, что ребра переломал. Как узнал, так и взбесился. «Клади, говорит, голову на порог, отрублю; ты в сыру землю пойдешь, я на виселицу, а дети шинкарям воду носить!» А она и просила и молила: «Ой, говорит, муженек, кабы у меня от тебя хоть один ребенок был, а то, стрясись с тобой что, и пойду я по чужим углам куковать». — «Будешь, говорит, куковать, как глухая кукушка, пока в гроб тебя не загоню». И легли спать — она к стене, он с краю. Что ни час, он вскочит и коло-

тит ее. Говорят, одно мокрое место осталось. Утром она хотела убежать, так схватил, привязал и месил сапожищами, как глину. Избави бог от такого!

Третий:

— Взбесился человек — и конец! А потом отвязал ее, велел хорошенько одеться, пойдем, мол, в церковь. И потащил, изувер, избитую в другое село. И рассказывают люди, будто в церкви сняла она безрукавку, а сорочка-то на ней вся в крови! Окружили ее бабы, спрашивают, что с ней такое? А она, бедняжка, в слезы! Все прихожане воззрились на нее, как на диво. А Тимофей, знаете, встал и: «Жена, говорит, марш домой!» Так они и помолились. Уж как возвращались домой, одному богу ведомо!

Первый:

— Вот так-то люди и скатываются вниз, точно их кто в омут толкает.

Второй:

— Покойник Максим будто знал. Смотри, как водой унесло все его богатство. А у невестки раны на плечах, как ключом кровь бьет...

Третий:

— Так же знал, как и мы. А разве и наши-то хозяйства не пошли все прахом, а только одно Максимово? Гляди, у вашего отца еще была и земля, и волы, а вы батрачите.

Второй:

— Да, были, но когда ж этому конец! Когда, когда-когда-а!

— Вот мы, наконец, и до дома добрались. Язык-то болтает и то и се, — а ноги, бедняжки, идут. А вы завтра куда идете?

Первый:

— На панский двор!

Второй:

— А я к этому паршивому шинкарю, паралик его расшиби! Еще с лета задолжал ему.

Третий:

— А я к попу.

1897—1898 г.

СЕМЬЯ ЛЕСЯ

Лесь, по своему обыкновению, украл у жены немного ячменя и нес в корчму. Не нес, а бегом бежал к шинкарю и все оглядывался.

— Ого, бежит да еще с ребятами, чтоб вам голову свернуть! Только б успеть в корчму, а то набросится и опять поднимет крик на все село.

И припустился с мешком на плече. Но жена с мальчонками догоняла и почти у самой корчмы ухватилась за мешок.

— Ой, не беги, постой, не растаскивай мой труд, не отнимай последнее у детей!

— Ах ты, подлюга, опять устраиваешь позорище на все село! Стыда у тебя нет!

— С таким мужем не было и не будет у меня стыда! Отдай мешок и пропади ты пропадом! Не отдашь, так будем жить, будем бить тебя с детьми посреди села! Пускай будет стыдобище на весь мир! Отдай!

— Ты что, старая паскуда, ошалела? Да я тебя и твоих сопляков изничтожу!

— Андрийка, сынок, лупи его по ногам, лупи по ногам, чтоб ваш хлебушек по шинкам не разносил! Так бейте, чтоб ноги покалечить. На калеку-то мы еще заработаем, а на пьяницу — нет нашей силушки заработать!

Она говорила двум своим сынишкам, которые стояли с палками и боязливо поглядывали на отца.

Андрийке было лет десять, а Иванке около восьми. Они не решались подойти к отцу и начать бить его.

— Бей, Андрийка, я подержу за руки. Бей по ногам, бей по ногам!

И ударила Леся по лицу. Он ответил ей так, что потекла кровь. Тогда мальчики подбежали и стали бить отца палками по ногам.

— Сильней, сынок, перебей ему ноги, как собаке, пусть волочит их за собой!

Отплевывалась кровью, побагровела, но держала за руки.

Ребята осмелели, подбегали, как щенки, били по ногам, отбегали и опять били, почти забавляясь, почти смеясь.

Из корчмы выбежало несколько человек.

— Эге, да такого спокон веков никто не видывал! Гляди, как бьют, а еще молоко материнское на губах не обсохло. Срамота на весь мир!

Мальчики, словно обезумев, били, а Лесь и Лесиха стояли, остолбенев, окровавленные и не шевелились.

— Эй, пареньки, да вы надорветесь возле отца!..

— Вы бы взяли палки подлиннее, чтоб лучше доставать.

— Бейте отца по башке, по разуму, по темечку!..

Это выкрикивал кто-то из пьяных, стоявших у корчмы.

Лесь бросил мешок на землю и стоял обалдевший. Такого нападения он никогда не ожидал и не знал, что ему делать. Наконец он сбросил с себя безрукавку и упал на землю.

— Андрийка, и ты, Иванка, идите, бейте, я не трону вас. Вы еще маленькие, и вам тяжело подбегать. Ну, бейте!..

Мальчики стояли поодаль и, пораженные, смотрели на отца. Потом бросили палки и смотрели на мать.

— Ты что ж не заставляешь бить, гляди, я лег — бейте!

Лесиха заревела на все село:

— Разве я, люди добрые, виновата? Я надрываюсь на панских полях с детьми на черством хлебушке, а все, что заработаю, он в корчму тащит. Я, люди добрые, из-за него заработать ничего не могу, хату боюсь оставить. До нищеты довел, на нас уже и драной рубахи нет. Что ни схватит, все в корчму за водку несет. Нет сил моих наработать и на детей и на шинкаря. Пускай делает, что хочет, а мне уж больше невмоготу.

— Ну, бейте, и пальцем не трону!

— Чтоб тебя, муженек, бог убил, что ты нам всю жизнь искалечил и детей осиротил! Ты нас так бьешь, что мы вечно в синяках, как волы в ярме, ходим. В хате горшка не могу держать: все перебьешь. А сколько раз я с детьми ночевала на морозе, а сколько ты одних окон перебил? Что с тобой говорить! Пусть бог тебя покарает за меня и за детей! Вот какую я себе долю у бога вымолила... Люди добрые, не дивитесь; вы-то всего еще не знаете...

Взвалила мешок на плечи и поплелась с детьми домой, как подбитая курица.

Лесь лежал на земле и не шевелился.

— Ладно, пойду в тюрьму, на веки вечные пойду. Такого еще никто не слыхал и не услышит. Уж такое устрою, что земля содрогнется!

И лежал, и злобно насвистывал.

. . . . . .

Лесиха все из хаты попрятала у соседей и собиралась лечь спать с детьми в огороде, в бурьяне: боялась,

что пьяный Лесь придет ночью. Детям постелила мешок, укутала их кожухом, а сама, накинув сардак, неподвижно стояла над ними.

— Дети, дети, что ж нам делать? То-то уготовала я вам сегодня на всю жизнь! И помрете, а от срама не избавитесь. Не в силах я этого за вас отмолить.

. . . . . .

И плакала, и прислушивалась, не возвращается ли Лесь.

Небо дрожало вместе со звездами. Одна звезда упала. Лесиха перекрестилась.

1898 г.

КАТРУСЯ

Когда Катруся приходила в сознание, мать садилась возле нее и жалобно говорила:

— Катруся, долго ль ты, бедняжка, хворать будешь? Деньги кончились, других — работай, не заработаешь, — хоть бы поскорей уже поправлялась. Все деньги я знахаркам переносила. И никакой пользы тебе... Правда, знахарка угадала все, что дома творится, какая у тебя болезнь, но травы ее не помогают. Видно, нет тебе выхода...

Катруся лежала пластом. Водила иссохшей рукой по лицу. Ногти были синие, как и ее синие глаза, и казалось, что по лицу блуждает много синих глаз, странных и блестящих. Всеми этими глазами Катруся смотрела на мать и поддакивала ее жалобным причитаниям.

— Ой, нет, горюшко ты мое, ой, нет! И отец совсем извелся. Голову потерял, на что хоронить будет,

когда умрешь. Как посмотрит на тебя, так даже почернеет весь от горя. Мы, Катруся, уже все прожили. Муки чуть-чуть на донышке осталось, нет в хате ни зернышка, ни гроша ломаного. Вот умрешь, так — нам хоть по миру итти. Если б господь тебя до осени поддержал... Эх, дочка, дочка, то-то и себя, и нас по рукам связала!

Мать принялась расчесывать Катрусе волосы.

— Ты вся огнем горишь и так кашляешь, что не приведи господи! Ни рубашку надеть на тебя, ни причесать, ни умыть. Господи боже, как тяжко мы страдаем! Молю бога, чтоб хоть половину этой муки на себя мне принять, и не могу допроситься.

Слезы матери капали на волосы Катруси и пропадали, как вода в песке.

— Что ж это с тобой сталося? Такая была ладная, такая работница — на все село! Нарадоваться мы на тебя не могли, думали, легче нам с тобой станет, а оно, вишь, как полегчало! Было бы хоть поесть чего получше, а то сохнем мы на одной картошке, а ты и вовсе чахнешь. Ой, как тяжело побираться по хатам за молоком, уж столько порогов пообивала, что стыдно людям в глаза смотреть.

Мать заплетала косу.

— И сама не знаю, зачем я тебе цветов накупила? Ухлопала два лева, как в прорву. Видно, я тебя этими цветами на смерть уберу.

Заплакала.

— Дайте-ка, я посмотрю на них.

Мать дала Катрусе цветы — синие, белые, зеленые, красные.

Катруся разглядывала их, лицо ее озарилось слабой улыбкой, и от цветов по ее лицу блуждали синие, белые, зеленые и красные отсветы.

— Дай сюда скорей, слышь, отец идет, а то, гляди, скажет, что у тебя все еще девичество в голове.

* * *

Катрусю положили на телегу, чтоб везти к доктору. Мать, плача, подложила ей под голову подушку.

— Эх, лучше б умереть, чем возить вас по докторам! Чтоб вы все передохли, уж сразу бы похоронил вас и избавился!

Держал вожжи и в отчаянии рвал на себе волосы.

— А ты, несчастная, попомни, коль я понапрасну деньги на докторов развею, будет тебе аминь! Я тебя без доктора похороню, я тебе сам доктором буду. Откуда я наберу для вас на докторов, на аптеки и на чорта рогатого?! Да мои мозоли не выдержат этого, ой, не выдержат! Нанял телегу, так лучше б отвезти на кладбище, опрокинуть в могилу и избавиться. Господи боже, что ж это нашло на меня сегодня! Ну, ты, кляча дохлая, трогай!

Стегнул лошадь кнутом и выехал за ворота.

На улице Катруся рассматривала все с любопытством. С осени появилось много нового. Дядя Семен поставил плетень, дед Микола заново покрыл овин. Катруся забыла о брани отца, смотрела во все стороны.

Люди на поле пахали, сеяли, а над ними заливались жаворонки. Черные борозды рассыпались под солнцем.

Катруся раскраснелась и думала: «Вся надежда на бога, что поднимусь, и не упущу я весны. Сразу возьмусь за работу... Господи, пошли мне исцеление!»

Была уверена, что не пропадет у нее весна. Отец сидел впереди и долго молчал. Наконец заговорил:

— Ишь, денечек-то, как золото, а ты таскайся по докторам!

Обратился к Катрусе.

— Скажи ты мне, девка, что мне с тобой делать? Лежишь и лежишь, ни житья тебе, ни смерти. Я лезу и лезу в долги, а все попусту! Если б я знал, какое тебе лекарство нужно, я бы искал, а так что я знаю? Скорей бы уж ты либо туда, либо сюда! И тебе лучше, и нам...

Катруся плакала.

— Нечего, голубушка, плакать, все это правда. Ты помрешь, тебе и горюшка мало, все равно в земле гнить. Жизнь нынче такая легкая, что лучше помереть и не надрываться целый век на чужом поле! Я вон сколько денег задолжал, а еще и на похороны взаймы брать, так что под старость из хаты выгонят. Эх, кабы я знал, что не будет тебе исцеления, сейчас бы оглобли домой повернул, хоть на похороны бы кое-что осталось.

Катруся заходилась от плача и кашляла на все поле.

Отец вытащил из-за пазухи яблоко и как-то неловко подал дочери. Никогда еще не давал он ей никаких лакомств.

— Не плачь, голубушка, я тебе не враг. Я к тому говорю, чтоб понапрасну денег не тратить, а то и себя разоришь и тебе, гляди, не поможешь. Ты и сама, дитятко, видишь, что неоткуда. Я б для тебя палец отрубил и не пожалел бы. Мне за тебя почет от людей, работница ты на все село была, ты словно парень у меня, сыночек ты мой, души я в тебе не чаял, а вижу, что умрешь. Ясно, что нет тебе выхода. Ой, бедняжечка, бедняжечка, то-то будем горе мыкать без тебя... Ой, будем, да еще как...

Старик умолк.

— Ой, умру-умру, вижу, что нет мне выхода, — шептала Катруся.

Въезжали в город.

* * *

Возвращались домой, и сосед Миколай с ними.

— Он мне такого наплел, что куда там! Не нам, мужикам, по докторам ходить. Если б, говорит, побольше молока пила, да мясца какого-то легонького поела, чтоб желудок себе поправила, да хлебушка беленького — ну, что только ни есть на свете, все перебрал. Может, у господ и помогло бы, но в нашем положении не поможет. Как он начал нанизывать, я и не дослушал до конца. Разве оно помогло бы, если б я и дослушал? Пускай помирает как есть. Пускай выпьет той медицины, что в аптеке взял, а там уж либо поправится, либо как сама хочет...

— А вы думаете, — начал сосед, — что доктора дают мужику такое же лекарство, как пану? Дал бы им бог такое здоровье! Что попадется, то и всучит мужику, — вот и выздоравливай. Разве он захочет хорошего лекарства мужику поискать? С паном что ни день, добрый день, а с мужиком что?

— Хоть бы, понимаете, посоветоваться с кем, а то что ж мы? Поцеловал руку и жди, когда скажет, плати деньги...

— Надо было разузнать у старой Иванихи. Она вот пошла к доктору, а когда он начал ее осматривать, она ему напрямик: «Ой, говорит, пан доктор, дайте мне что ни на есть последнее лекарство. Я, дескать, бедная старуха, не на что мне лечиться, так дайте мне последнее лекарство». Доктор так и уставился на ста-

руху и говорит: «А ты откуда знаешь?» — «Ой, — говорит старуха, — откуда знаю, это уж мое дело, а дайте мне рецептик на последнее лекарство. Ну, что ни на есть самое последнее». Как начала, как начала, и что ж вы думаете? Дал. И по сей день она ходит...

— А мне невдомек было порасспросить. Вы думаете, что с паном можно говорить, как вам хочется? Говори раз-два и убирайся вон!

— Пошла старуха с тем рецептиком в аптеку. Подала аптекарю, а сама, небось, хитрая, смотрит, как он будет это лекарство готовить. Сама рассказывала: капнул он того лекарства себе на ладонь, а оно сквозь руку так и прошло. Но это уж разве одному из сотни удается такое лекарство достать. А мужикам только такое лекарство и годно, чтоб туда иль сюда!

— Эх, бедная, горемычная моя головушка, не разузнал я у старухи, как нужно было того лекарства просить! А я, значит, и деньги загубил, и ничего не поможет... Плохо сделал...

— Оно видно, вашей дочке нет выхода. Гляньте, как она горит! Нет уж ей спасенья, как тому листочку, что оторвался от дерева...

— Ой, нет, нет, и деньги пропали. Хотя бы я Иваниху-то расспросил...

— Это, видите ль, смотря от какой болезни лекарство. У аптекаря вон целая аптека, а тоже помирает...

1898 г.

ОСЕНЬ

Дмитро чинил сапоги жены. Не клал заплаты, а затягивал дыры. Грешно было бы нести такое рванье к сапожнику, да и с деньгами плохо. А жена босым-

босая, за водой сходить не в чем. И Дмитро с утра принялся за сапоги. Сидел около скамьи против окна, обложившись обрезками кожи, вощил нитки на дратву и злился, как пес.

— Ей-богу, брошу в печку, швырну в огонь и избавлюсь! Кожа заскорузла, сопрела, ниткой не стянешь, того и гляди прорвется, — выбросить бы в навоз, плюнуть, да и конец!

Приговаривая так над сапогами, Дмитро все-таки с большим старанием чинил их. Продернет нитку сквозь кожу и тревожно осматривает — не прорвалась ли. Из-за этого работа шла медленно, и Дмитро злился.

— Железо не кожа, да и то протирается, что тут и говорить? Четыре года как куплены, четыре года этой осенью, пора уж им. Но эту зиму, как хочешь, а должны еще послужить.

И чинил, и злился, и сто раз собирался бросать в печь или в навоз.

Дмитриха сидела на лежанке и чинила рваные рубахи.

«Развалились в клочья. Конопли не посеешь: землицы и под рожь нехватает, полотна не купишь, в доме ни гроша, — дойдет до того, что нагишом ходить будем. Положишь заплатку на одно место, рвется в другом. Если б еще не стирать, так, может, не так бы рвались. Уж я их и не стираю как следует, а паутинка паутинкой и останется! Бог его знает, как и чинить, с какого бока к ним подступиться?» С такими мыслями сидела Дмитриха над кучей тряпья, внимательно вглядываясь в рваные рубахи. Изможденное лицо ее было беспомощно. Грубое, рваное полотно, с выцветшими красными вышивками напоминало одежду солдат, вернувшихся с войны. А она, как бедная сестра

милосердия, с тоской и самоотвержением хоть чем-нибудь хотела помочь несчастным раненым.

— Зиму еще как-нибудь проходим, но лето, один бог знает, как.

И пришивала серой ниткой заплаты, и думала о своей серой жизни.

На печи лежала мать Дмитра. Крошечная старушка — не больше десятилетнего ребенка — и беспрерывно кашляла.

— Господи, господи, пошли ты мне смерть, чтоб не страдать так тяжко! Кажись, искупила я все грехи, что нагрешила... Умирают вон какие, им бы только жить, оставляют добро, а я, словно твердый камень, который никто не может раздавить. Боже, боже, за что ж ты меня так тяжко караешь?

И надрывалась от кашля.

Около бабки сидели дети. Когда бабка синела и заходилась от кашля, они смотрели на нее любопытными глазами и все показывали пальцами на бабку:

— Гляди, гляди, бабуся уже помирают.

А когда бабка откашливалась, то говорила им:

— Куда там, детоньки, моя смерть забыла про меня.

Но Дмитру уже осточертело биться над рваными сапогами. Швырнул их под лавку и начал ругаться:

— Ежели б я вам на смерть готовил, все мне было бы легче. А то ни обуть, ни одеть, ни накормить, — да разве напасешься на вас. Походите-ка малость босиком, так, может, скорее помрете!

Сел у стола.

— Может, ты дашь мне чего-нибудь поесть, хозяйка! Знаешь небось, что у меня сегодня и маковой росинки во рту не было.

Дмитриха встала с лежанки, подала ему картошку. Робкая, забитая, как овца.

Дмитро чистил картошку, мокал в соль и грыз хлеб.

— Уж и кормишь ты меня... Но я тебя так накормлю, что сдохнешь, — так я тебя накормлю. Ну, сварила бы борщика какого, или похлебки, или чорта рогатого, что ли... Сунет тебе картошку и давись! Я уж еле ноги волоку!

— Что ж она тебе, сынок, сварит? Постного масла нет, муки нет, так что ж она тебе сварит?

— Ваши разговоры, мама, кончились. Сидите себе на печи и кашляйте. Богатства вы мне не дали, волов и коров я у вас не отнимал, так и посиживайте тихонько. Лучше подумали б, на что я вас хоронить буду? Ждете этой смерти, как коршун дождя, все «господи, боже, пошли мне смерти», а все это на мою голову...

Бабка хотела заплакать, но закашлялась.

— Ей-богу, оглохну! — сказал Дмитро.

— Эй, ты, висельник, чего виснешь на полке, хочешь горшки побить? Эх, чтоб ты повис там навеки...

И стал бить мальчика.

Дети завизжали, бабка не переставала кашлять.

— Да на эту хату и птица не сядет, — говорил Дмитро.

— Что ты к детям привязался, разве они виноваты, что сапоги износились?

— Ты, сука, народила, наплодила, да еще огрызаешься за них? Я вас всех зарежу...

Выхватил из-под скамьи сапоги и начал бить жену. Потом натянул на себя тулупишко и выбежал из хаты.

— Лучше околеть, чем возвращаться в эту хату! — крикнул с порога.

— Ступай, ступай, послушай про Канаду[1]; думаешь, я поеду с детьми на край света?.. — вдогонку крикнула ему жена.

* * *

Дмитриха топила печку. Дыму полна хата, и она все утирала слезы. Дым ел глаза.

Бабка стонала на печи:

— Хоть бы лето... Разошлись бы на работу и не грызлись бы здесь в куче. Солнышко разогнало бы по полю. А то сущий ад в хате. Господи, боже, прибери ты меня, сам видишь, нет моей моченьки жить на этом свете...

Дети бегали по хате. Но, как только стукнет кто в сенях, они удирали на печь к бабке. Лица их сразу становились измученными и жалкими. Все прикидывались тихонькими: боялись, как бы отец не побил их. Но если в хату не входил отец, так они снова слезали с печки, чтоб попрыгать по земляному полу.

Так голуби спускаются стаей на ток. Но стоит мужику скрипнуть дверью хаты, как они оставляют зерно и, перепуганные, взлетают в небо.

1898 г.

НАПАСТЬ

У Романихи заболела корова. Лежала на соломе и печально смотрела большими серыми глазами. Ноздри дрожали, шкура морщилась и вся передергива-

---

[1] Слушать про Канаду — слушать разговоры об эмиграции.

лась в лихорадке. От нее веяло болезнью и мукой — страшной, немой. В таких случаях больше всего жаль, что животное не может заговорить и пожаловаться.

— Видно, не жить ей. Может, и помог бы чем, да это не от плохой крови, а от дурного глаза, чтобы они у него лопнули! И теперь не спасешь. Уповайте на бога — может, и порадует вас... — так говорил Илаш, знавший толк в скотине.

— Ой, Илашенька, видно, конец ей, а коли ее не будет, то и мне не жить. Весь свой век я положила, чтоб коровки дождаться. После мужа осталась одна, сын помер в солдатах, а я надрывалась, работая дни и ночи. Долги зимние ночи, а я до света пряду, аж кончики пальцев вспухают, а в глазах как песок. Только один бог знает, как тяжко я этот крейцер копила, пока не накопила...

— Видите, бедному всегда так, хоть руки сработай по локоть, все равно ничего из этого не выйдет! Так уж водится, что тут поделаешь? Надо как-то жить...

— Ой, не знаю и ума не приложу, что делать и кто мне поможет.

— Выберите какой денек, обедню закажите и угощеньице поставьте. Либо сходите на богомолье к Ивану Сучавскому; говорят, очень помогает.

— Ой, уж я и обет дала молебен заказать и к Зарваницкой божьей матери и к Ивану Сучавскому сходить.

— Авось, говорю, бог вам поможет, коли будете уповать на него. Пошли вам бог всего хорошего.

Илаш ушел.

Романиха села возле коровы и обняла, как бы спа-

сая ее от гибели. Давала ей все лучшее, что было у нее, но корова ничего не ела. Только смотрела на старуху и растравляла ей сердце тоской.

— Маленькая, маленькая, что у тебя болит? Не оставляй старую бабку без ложки молока. Порадуй меня хоть немножко.

И гладила корову и по лбу, и под шеей, и голосила над ней.

— Где, где мне собрать на другую?! Ни пальцев сложить, ни иглы воткнуть не могу; где уж мне на старости на корову добыть?

Корова дрожала, Романиха накрыла ее своим тулупом, а сама раздетая стояла над ней на морозе. Зуб на зуб не попадал, но не отходила.

— А может, это за грехи меня бог так карает? Не раз я из-за тебя, бедняжечка, грешила! То на чужой меже малость попасу, то тыкву сорву, то стебелек кукурузки отломлю. Но никогда я ни для кого молочка не жалела. Где ребенок заболеет, где женщина после родов, несу туда крыночку молочка. Да и творожку я немало раздавала людям для кулешика. Господи, не карай так тяжко бедную вдову! Ничего чужого я никогда не трону, только пощади мою коровку!

И так до поздней ночи Романиха голосила над коровой. Кропила ее святой водой, но ничего не помогало. Корова вытянула ноги через весь хлев, раздувала бока и ревела. Старуха гладила, обнимала, приговаривала, но ничем не могла помочь.

В дверь хлева падал свет луны, и старуха видела каждое движение коровы. Еле держась на ногах, корова поднялась, оглядела хлев, точно прощалась с каждым углом.

Потом упала на солому и вытянулась, как струна. Романиха опустилась на колени и растирала ее, сама

не сознавая, что с ней творится. Корова заревела громко и начала бить ногами. Романиху бросило в жар, потемнело в глазах, и, заливаясь кровью, она упала. Корова била ногами и раздирала старуху.

Обе боролись со смертью.

1898 г.

СЛУЧАЙ

В селе случилась беда. Гриць Летючий утопил в реке свою девочку. Он хотел утопить и старшую, но та упросила оставить ее. С той поры как умерла его жена, он бедствовал. Не под силу было растить детей без жены. Никто не хотел итти за него замуж, и понятно: если б только одни дети, а то еще и беда, и недостатки. Целых два года маялся Гриць с малыми детьми. Никто не знал, как он живет, что делает, разве только ближние соседи. Рассказывали они, что Гриць почти всю зиму не топил в хате и зимовал вместе с детьми на печи.

А теперь все село заговорило о нем.

Пришел он как-то вечером домой и застал девочек на печи.

— Тятя, мы есть хотим, — сказала старшая Гандзуня.

— Так ешьте меня. Что ж я вам дам есть? Вот хлеб и набивайте животы.

И дал им кусок хлеба, а они так и вцепились в этот хлеб, как голодные щенки в голую кость.

— Народила вас и оставила на мою голову, чтоб ее земля выкинула! Где только эта чума ходит, чтоб ей голову сломать, к нам и не завернет. Этой хаты и чума испугалась бы!

Девочки не слушали слов отца: так было каждый день, каждый час, и они привыкли. Ели хлеб на печи, и жалко и страшно было смотреть на них. Бог знает, как эти тоненькие косточки держались вместе. Только четыре черных глаза были живые, и что-то весили. Казалось, что лишь эти глаза тяжелы, как олово, а остальное тело, если б не глаза, улетело бы с ветром, словно перышко. И теперь, когда дети ели черствый хлеб, то казалось, что это похрустывают косточки в их лицах.

Гриць глянул на них и подумал: «Мертвецы», и так испугался, что его даже в пот бросило. Ему стало так тяжело, словно кто-то камень положил ему на грудь. Девочки жевали хлеб, а он припал к земле и молился, но какая-то сила заставляла его глядеть на них и думать: «Мертвецы!»

Через несколько дней Гриць уже боялся и в хате оставаться, все ходил по соседям; и они говорили, что он сильно горевал. Почернел весь, глаза так ввалились, что, казалось, не глядели на белый свет, а лишь на камень, давивший ему грудь.

Однажды вечером Гриць пришел домой, сварил детям картошки, посолил и подал на печку, чтоб ели. Когда они поели, он сказал:

— Слезайте с печи, пойдем в гости.

Девочки слезли с печки. Гриць одел их в тряпье, взял меньшую Дуцю на руки, а Гандзуню за руку и вышел с ними. Шел долго лугами и остановился на горе. В лунном сиянии раскинулась в долине река, словно большая струя живого серебра. Гриць содрогнулся: блестящая река обдала его холодом, и камень на его груди стал еще тяжелее. Он задыхался и, напрягая последние силы, нес маленькую Дуцю.

Спускались в долину к реке. Гриць скрежетал зубами так, что скрежет разносился по всему лугу, и чувствовал в груди огонь, который жег его сердце.

У самой реки он уже не мог итти медленно, а бежал, оставив Гандзуню. Она бежала за ним. Гриць быстро поднял Дуцю и что есть силы бросил ее в воду.

Ему стало легче, и он заговорил быстро:

— Скажу панам-судьям, что не было другого выхода; есть нечего, хату истопить нечем, ни постирать, ни голову вымыть, ну, ничего! Я принимаю кару, я виновен и пойду на виселицу!

Около него стояла Гандзуня и так же быстро лепетала:

— Тятенька, не топите меня, не топите, не топите!

— Ладно, коль просишь, не буду, но тебе было бы лучше, а мне один ответ, что за одну, что за двух. Будешь сызмальства горе мыкать, а потом поступишь в мамки к лавочникам и еще больше будешь маяться. Как хочешь.

— Не топите меня, не топите!.

— Нет, нет, не буду, но Дуце теперь уже лучше, чем тебе. Так ступай в село, а я пойду к панам-судьям и объявлюсь. Смотри, вот по этой тропинке иди прямо-прямо в гору, а там придешь в первую хату, войди и скажи, что так и так, мол, отец хотел меня утопить, но я его упросила и вот пришла, пустите меня переночевать. А завтра скажи: не возьмете ли меня ребенка няньчить. Ну, иди, а то ночь.

И Гандзуня пошла.

— Гандзя, Гандзя, возьми палку, а то нападет собака, разорвет тебя, а с палкой не так страшно.

Гандзя взяла палку и пошла лугом.

Гриць подвернул штаны, чтоб перейти речку, — там

проходила дорога в город. Шагнул в воду по лодыжки и оцепенел.

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Отче наш, иже еси на небеси...

Вернулся и пошел к мосту.

1899 г.

СОЧЕЛЬНИК

Посиневшая, дрожала на печи среди кучи тряпья и, не переставая, билась головой о стену. На лежанке сидел сын старухи.

— Да хоть бы я продался, а топлива мне неоткуда вам достать, а хоть бы и украл, так поймают. Сидите на печи, закутайтесь в лохмотья и ждите тепла. У меня малые дети и те чахнут, бедняжки, от холода. Вот принес вам хлеба, немножко водки и старенькую чистую рубаху, справьте себе праздник по-божески. А может, еще и люди вам чего-нибудь принесут. Да головой о стены не бейтесь: все одно ничего из них не выбьете.

— Не под силу мне, сынок, такой холод и такую стужу выдержать. До самых косточек мороз пробирает. А головой я о стенку бьюсь, чтоб не закоченеть на месте.

— А отеки с ног спадают?

— Ноги, сынок, как ведра, набрякли: ни согнуть их, ни разогнуть.

Показала ноги, синие и блестящие, как стеклянные колоды.

— Нет сил моих ночь перемаяться: ночи такие длинные-длинные, будто десять в одну сложили. Все молитвы перечитаю, все передумаю с самого сызмаль-

ства, а дня дождаться не могу. И так горько сидеть одной-одинешенькой в такой холодной пещере.

— Да хоть бы господь смиловался да избавил вас от долгой муки, и поскорей прибрал, чтоб не гнили вы.

— Ой, сынок, я этой смерти, как матери родной дожидаюсь. Ночью-то в каждый угол, не отрывая глаз, вглядываюсь, не покажется ли где в углу; говорят, как покажется, тут скоро и придет. Но не показывается.

— Смерть-то придет, но когда? Лошади у меня стоят. Снимайте-ка тряпье, я на вас хоть чистую рубаху надену.

— Я, дитятко, замерзну, как ты меня в чистую рубаху уберешь. Я рада, что эту-то на себе согрела, как говорится, своей вше рада, что расплодилась, укусит, так оно и теплее шкуре.

— Да вы совсем в детство впали — разве можно на рождество в такой грязи сидеть?

Натянул на мать рубаху.

— Недолго вам осталось, кости, как мечи, из кожи вылезают... хоть бы поскорей.

— И я, сынок, тоже говорю, хоть бы скорее.

— Ну, встречайте праздник в добром здоровии.

— Иди, иди, ты ж на панской службе.

Дрожала на печи от холода и головой билась о стену.

— Вот какое доброе дитятко у меня, навещает меня, не забывает. Никогда не стыдится, что мать с сумой ходит. Благословляю тебя, сынок, на все доброе.

И благословила рукой.

Легонько билась головой о стену, словно от радости, что у нее такой хороший сын.

— Слава Иисусу!

— Ровеки слава!

— Я вам, бабушка, кутьи и лепешек принесла, чтоб вы по моей Марии молитву прочитали.

— Да простит ее господь! Я помолюсь, голубушка, за твою Марию.

Крестилась синими руками.

— Слава Иисусу!

— Вовеки слава!

— Вот принес я тут немножко пирожков, а вы за мою первую помолитесь.

— Да простит ее господь! Я помолюсь, Андрей, за твою Катерину.

Шептала молитвы.

— Слава Иисусу!

— Вовеки слава!

— Я вам, бабушка, рыбки принесла, а вы за нашу маму поклоны положите. У людей праздник, а у нас словно покойница под образами лежит, так плачем. Еще в прошлый сочельник они нам ужин готовили.

— Я, сиротки, положу поклоны за вашу маму.

Девушка, плача, вышла, а старуха сдувала пыль с печи и целовала землю, и поклоны била.

Много мисочек принесли люди старухе.

Спускались сумерки. Старухи уже не было видно, только молитвы ее разносились с печи по хате.

* * *

Ветви груши бились в окна, и стекла звенели.

— Колядуй мне, грушенька, колядуй, а то никто мне не поколядует, в этот сочельник только ты старухе и колядуешь.

В руках держала бутылку с водкой.

— Я горилочку буду попивать, а ты мне славную колядку спой и моему сыночку, он своей матерью не гнушается...

Выпила.

— Если б не он, только по весне меня бы и нашли, когда бы дух с печи на дорогу донесся.

Пила.

— Спой-ка, грушенька, эту бабью колядочку.

Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світу засіяла...

Надорванным голосом пропела всю колядку.

— Теперь весь свет, весь род православный колядует и веселится, а я с грушенькой вдвоем. А вот, грушенька, эту старинную, моему Митрию:

Віншую тебе щастям, здоровьям, повій,
Повіяв витер, похилив явір стихенька...

Верезжала, словно с нее ремни сдирали.

— Вот эту колядку любил мой старик. Видишь, старый, а я, одинешенька, без тебя пью да гуляю, да колядки распеваю. Твоя грушенька со мной колядует. А с тобой мне уже никогда, ой, никогда!.. Не твоя я теперь хозяйка...

Пила.

— Ой, не твоя! Без тебя я одна справилась, сама себе суму сшила и по миру пошла. Как с сумой за твой порог переступила, то я уж не твоя хозяйка, нет у меня права.

Пила.

— А как вышла, Михайлушка, первый раз с сумой на дорогу, то почуяла, как тебя в гробу перевернуло,

солнышка я светлого устыдилась и вернулась в хату. Молитвы нищенские творила в твоей хате. Вот какую хозяйку ты оставил после себя.

Пила.

— Теперь меня, муженек, собаки по всем селам знают, а я их твоей палочкой отгоняю. Но я тем нищенским хлебом сына вскормила. Он мне поесть принесет, он рубашечку маме на плечи наденет, он мамы не чуждается. За него, старый, все грехи тебе должны быть прощены, за него одного. Потому что за твою хозяйку ты милости у бога не вымолишь.

Напилась.

— Но я ж, старый, пьяная, но я ж непутевая! Кабы ты меня сейчас увидел, порадовалась бы твоя душенька! Ох, и лупил бы, ну и бил бы! Прямо за косы, да голову меж коленями и шею своротил бы. Бей побирушку, она твою память с сумой по миру разнесла! Бей, как суку, бей, чтоб она тебе в хату нищенских кусков не тащила!

Выпила последки.

— Приструнь, муженек, свою хозяйку да хорошенько за косы возьми-ка эту нищенку...

Билась головою о стену, как безумная.

— Вот так, вот так, пускай пропадает сума мирская!

1898 г.

КАМЕННЫЙ КРЕСТ

1

С той поры как Ивана Дидуха помнили в селе хозяином, у него всегда была только одна лошадь и маленький возок с дубовым дышлом. Лошадь он запря-

гал впристяжку, а сам впрягался коренным; для лошади у него была ременная шлея и нашильник, а на себя набрасывал веревочную шлею поменьше. В нашильнике он не нуждался: левой рукой он удерживал, пожалуй, сильней, чем нашильником.

И когда везли снопы с поля или навоз на поле, то одинаково и у лошади, и у Ивана наливались жилы, одинаково у обоих постромки в гору натягивались, как струны, а под гору — одинаково волочились по земле. В гору лошадь взбиралась, как по льду, а у Ивана на лбу вздувалась толстая жила, словно его кто палкой по голове треснул. А когда спускались с горы, лошадь выглядела так, будто Иван за какую-то провинность повесил ее на нашильнике, а у самого Ивана левая рука покрывалась сетью синих жил, как цепью из синей стали.

Бывало, ранехонько, еще до восхода солнца, ехал Иван в поле по пыльной дороге. Шлеи на нем не было, он шел с правой стороны и держал дышло как бы подмышкой. И лошадь, и Иван, отдохнувшие за ночь, держались бодро. А если им приходилось спускаться с пригорка, то они бежали. Бежали вниз, оставляя за собой следы колес, копыт и широченных пяток Ивана. Придорожные травы и стебли качались, наклоняясь за возом, и роняли росу на эти следы. Но иногда на самом разгоне, посреди горы, Иван начинал припадать на ногу и останавливал лошадь. Садился у дороги, брал ногу в руки и слюнявил ее, чтобы найти то место, куда вонзилась колючка от будяка.

— Да этакую ногу сапкой надо скрести, а не слюной промывать, — всердцах говорил Иван.

— Дед Иван, подсыпь-ка батогов этому коренному, чтоб даром овса не ел, пускай везет...

Смеялись мужики с соседних полей, видя Ивана, попавшего в беду. Но Иван давно привык к этим шуткам и спокойно продолжал вытаскивать колючку. А если не мог вытащить, то кулаком загонял ее глубже в ногу и, вставая, говорил:

— Небось сгниешь и сама выскочишь, некогда мне с тобой цацкаться.

А еще Ивана звали в селе Переломанным: что-то неладное было у него в пояснице, и ходил он, согнувшись, словно двумя железными крюками тянуло его туловище к ногам. Это его ветром продуло.

Вернувшись с военной службы домой, он не застал ни отца, ни матери, только одну покосившуюся хатенку. А в наследство отец оставил ему всего клочок земли на самом бугре, самой плохой из всего сельского поля. На том бугре бабы брали песок, и зевал этот бугор в небо оврагами и пещерами, как страшный великан. Никто не пахал на нем, не сеял, и не было на нем ни единой межи. Только один Иван принялся пахать и сеять на этом клочке. Вместе с конем подвозил навоз под гору, а потом уже сам таскал его в мешке наверх. Порой на поля и долину доносился с бугра его громкий крик:

— Э-эх, чтоб тебя! Вот грохну, так ты в клочья разлетишься! И до чего ж ты тяжелый!

Но, видно, никогда не бросал, жалко было мешка, и бережно спускал его с плеч на землю. Но однажды вечером рассказал жене и детям о таком случае:

— Солнце палит, нет, не палит, а огнем жжет, а я на карачках лезу с навозом наверх, аж шкура на коленях трескается. Пот из каждого волоска льется, и так во рту солоно — до горечи. Еле-еле взобрался на гору. А на горе подул на меня такой легкий ветерок, что просто рай! И вот поди ж ты, немного погодя начало

у меня в пояснице как ножами резать — думалось, конец пришел!

С той поры Иван стал ходить, согнувшись в пояснице, и люди прозвали его Переломанным.

Но хотя бугор этот и переломил его, а урожаи давал хорошие. Иван набил кольев, натаскал крепких пластов дерна и обложил ими свой клочок земли, чтоб осенние и весенние дожди не смывали песка и не уносили его в овраги. Всю жизнь свою положил на этом бугре.

Чем больше старился, тем труднее было ему, переломанному, спускаться с бугра.

— Экой собачий бугор, так и толкает человека вниз головой!

Часто, когда заходящее солнце заставало Ивана наверху, оно отбрасывало его тень вместе с бугром далеко на поля. И она ложилась на эти поля, словно великан в низком поклоне. Иван показывал пальцами на свою тень и говорил бугру:

— Это ты, голубчик, согнул меня в дугу! Но пока ноги меня носят, ты должен хлеб мне родить! Нечего даром есть солнце и пить дождь!

На других полосках земли, которые Иван купил на деньги, скопленные в солдатчине, работали его сыновья и жена, а сам Иван из сил выбивался на бугре.

И еще Иван был известен на селе тем, что в церковь ходил только раз в год на пасху, и тем, что муштровал кур. И так он их вышколил, что ни одна не отваживалась войти во двор и рыться в навозе. Стоило какой-нибудь из них хоть лапкой царапнуть — тут ей и конец от лопаты или палки. Хоть бы тут Иваниха крестом распласталась, не поможет.

Да разве еще тем был известен Иван, что никогда не ел за столом. Только на скамье.

— Был в батраках, а потом десять лет солдатчину отбывал, так я стола-то и не знал, за столом мне и еда не понутру.

Вот такой чудной был Иван и нравом, и в работе.

2

Гостей у Ивана полна хата — бабы и мужики. Иван продал все, что было, потому что жена с сыновьями порешили ехать в Канаду, и старик принужден был в конце концов уступить.

Созвал Иван все село.

Стоял перед гостями, держал чарку водки в правой руке и, словно окаменев, слова не мог вымолвить.

— Покорно вас благодарю, земляки и землячки, за ваше уважение ко мне и к моей хозяйке...

Не договаривал, и ни с кем не пил, только тупо глядел перед собой и качал головой, словно читал молитву и каждое слово ее подтверждал кивком головы.

Так порой волна из глубины выбросит на берег большой камень и оставит его, и лежит тот камень на берегу — тяжелый и бездушный. Солнце откалывает от него раковинки, кусочки старого ила и зажигает на нем маленькие фосфорические звезды. И мерцает этот камень мертвыми отблесками, отражающими восходы и заходы солнца, и каменными глазами смотрит на живую воду и тоскует, что не лежит на нем тяжесть воды, что давила его спокон веков. Глядит с берега на воду, как на утраченное счастье.

Вот так и Иван глядел на народ, как тот камень на воду. Потрясал седыми волосами, словно гривой из стальных ниток, и договаривал:

— И большое вам спасибо, и дай вам боже то, что вы сами у него просите. Пошли вам бог здоровья, дед Михайла...

Подал Михайлу чарку, и целовали друг другу руки.

— Кум Иван, дай вам бог пожить еще многие лета на этом свете, и пусть господь милосердный благополучно доведет вас до нового места и поможет вам милостью своей наново стать хозяином!

— Привел бы господь... Мужики, прошу вас, кушайте... Думалось мне, что посажу я вас за стол, когда придете на свадьбу сына, да по-иному сталося. Такое пришло, чего не знали ни наши деды, ни отцы, а что нам придется изведать. Такова воля господня! Пейте, закусывайте, землячки, и простите за все!

Взял рюмку водки и подошел к женщинам, что сидели на другом конце стола.

— Тимофеиха, кума, хочу я с вами выпить. Гляжу на вас, и мне, как говорится, молодые годы вспоминаются. Где, где они, где-е! А уж какая вы ядреная девка были, ладная, хоть куда! Не одну ночку я по вас тосковал, бывало, в танце вы, как пава, плывете! Эх, кума, где ж они, эти наши годы?! А ну-ка, выпейте да простите, что я под старость про танцы вспомнил. Пожалуйста!

Взглянул на свою жену, которая сидела среди баб и заливалась слезами, и вынул из-за пазухи платок.

— Возьми-ка платок, старуха, да получше утрись, чтоб я тут никаких слез не видел! Гостей потчуй, а на слезы у тебя еще времени хватит, так наплачешься, что глаза вытекут...

Отошел к мужикам, покачивая головой.

— Я бы сказал, да лучше помолчу, из уважения к иконам в хате и к вам, почтенные люди. Но не приведи господи никому бабьим умом жить! Глядите, как

ревет... А из-за кого, из-за меня? Из-за меня, хозяюшка моя? Разве это я выжил тебя на старости лет из твоей хаты? Молчи, не хлюпай, а то я седые космы-то выдеру, плешивая поедешь в ту Америку!

— Кум Иван, да оставьте в покое жену: не ворог же она вам и своим детям. Горько ей со своей родней и со своим селом расставаться.

— Тимофеиха, коль не знаете, так и не трещите попусту! Она убивается, а я что туда с радостью скачу?

Заскрежетал зубами, как жерновами, погрозил жене кулаком, как долбней, и стал бить себя в грудь.

— Возьмите топор и всадите мне в самую печенку, может желчь лопнет, а то нет моих сил выдержать! Люди добрые! Такая тоска, такая скорбь, сам не знаю, что с собой делать!

3

— Милости просим, хозяева, кушайте и без церемоний, да не взыщите, мы уже странники. И на меня, старика, не дивитесь, что вроде над женой измываюсь, но это не понапрасну, ой, не понапрасну. Никогда бы этого не было, если б не она с сыновьями. Сыны, понимаете ли, грамотные, получили письмо откуда-то, добыли какую-то карту и так подъехали к старухе, пилили, пилили, пока не сломили. Два года в этом доме только и разговору было: Канада и Канада... А потом как навалились все на меня, как увидел я, что все одно меня под старость поедом заедят, коль не поеду, я и продал все до нитки. Сыновья не хотят после моей смерти быть батраками и говорят: «Ты наш отец, так и посади нас на землю, дай нам хлеба, а то,

как нас разделишь, не с чем нам будет и тронуться». Да поможет им бог этот хлеб есть, а мне все едино погибать. Под силу ли мне, мужики, переломанному, туда добраться? Не годный я уже к работе человек: все мое тело — мозоль, кости трухлявые, пока их поутру соберешь воедино — раз десять ойкнешь!

— Это, Иван, уже дело прошлое, а вы не тужите. Может, еще нам дорогу покажете, и мы все следом за вами поедем. По нашим краям не стоит и сердце надрывать! Нашей земле не под силу столько народа прокормить и столько горя вынести. И мужику не под силу, и ей тоже, — обоим не под силу. И саранчи нет, и пшеницы нет. А подати растут. Где раньше ты платил один лев, то нынче — пять платишь, раньше ты сало ел, а теперь картошку; ой испепелили нас. Так зажали, так к рукам прибрали, что из этих рук никто нас не сможет и вырвать, разве что бежать!.. Но будет когда-нибудь расплата, поднимется народ и возьмется за ножи! Так что не о чем вам сокрушаться!..

— Спасибо вам на этом слове, но принять его не могу. Верно, что резня будет. Разве бог не гневается на тех, кто землей торгует? Теперь никому земля не нужна, только бы векселя да банки. Нынче молодые хозяева умные стали, такие пожарники, что на земле своей не сгорят. А поглядите-ка на эту старую скрипку, куда уж ей до них?! Да это ж трухлявая верба, тронь пальцем — рассыплется! И думаете, что она доберется до места? Вот свалится где-нибудь в канаву, и растащут ее собаки по косточкам, а нас дальше погонят и взглянуть не дадут. И откуда таким детям ждать божьего благословения? Старуха, поди-ка сюда!

Подошла Иваниха, старенькая, худенькая.

— Катерина, о чем ты, несчастная, думаешь? Где я тебя в могилу положу? Может, придется кинуть тебя

рыбам на съедение. Да тут порядочной рыбе и на зуб взять нечего! Поглядите-ка!

И, натянув кожу на руке жены, показывал людям.

— Кожа да кости. Куда уж ей, мужики, с печки слезать. Была хорошая хозяйка, работала не покладая рук, не бездельничала, а под старость вдруг в далекую путь-дороженьку собралась. Гляди, вон твоя дорога и твоя Канада. Во-он там!

И показал в окно на кладбище.

— Не хотела итти в эту Канаду, так пойдем по белу свету, и развеет нас под старость, как листья по полю. Бог ведает, что с нами будет... а я хочу с тобой перед нашими людьми попрощаться. Как под венец при них шли, так и на смерть хочу перед ними попрощаться с тобой. Может, случится, что тебя выбросят в море, и я не увижу, а может, меня бросят, и ты не увидишь, так прости меня, старая, что я тебя не раз укорял, может, когда и обидел, прости меня и в первый, и во второй раз, и в третий...

Целовались. Жена упала Ивану на руки, а он продолжал:

— Это я тебя, бедняжка, в далекую могилу везу...

Но этих слов никто не слышал. От стола, где сидели бабы, вырвался плач, словно ветер пронесся между острых мечей, и склонил на грудь головы мужиков.

4

— Теперь, старуха, ступай к своим бабам да последи, чтоб в обиде никто не остался, и сама выпей, чтоб я тебя хоть раз в жизни увидел пьяной.

— А к вам, хозяева, две просьбы у меня. Как получите на селе весточку от моих сыновей, что нас со ста-

рухой уже не стало, так, прошу я вас, отслужите вы панихидку да соберитесь вот так, как сегодня, на поминки и помолитесь за нас. Может, господь бог и грехов поубавит. Деньги я оставлю Якову, он человек молодой, справедливый и не утаит денег старика.

— Отслужим, отслужим и молитву прочитаем...

Иван задумался. На его лице отразилось какое-то смущение.

— Вы не дивитесь и не смейтесь над стариком. Самому совестно это вам сказать, но сдается мне, что грешно будет, если я утаю это от вас. Вы знаете, что я на своем бугре крестик каменный себе поставил. С тяжким трудом вез и наверх поднимал, но поставил такой тяжелый, что бугор его не сбросит, должен на себе держать, как меня держал. Хотелось хоть какую-нибудь память по себе оставить.

Сложил ладони трубкой и прижал к губам.

— Так я тоскую по этому бугру, ну, как дите малое по титьке. Я на нем жизнь свою положил, на нем и покалечился. Если б я мог, я бы его за пазуху спрятал и с собой унес. Жалко мне каждую крошку на селе, каждое малое дите, а по этому бугру я всю свою жизнь тосковать буду.

Глаза наполнились глубокой скорбью, и лицо задрожало, как черная борозда под солнцем.

— Этой ночью лежу я в овине и думаю, и думаю: «Боже милосердный, чем же я так тяжко согрешил, что гонишь ты меня за моря-океаны?» Всю жизнь только работал, работал и работал! Не раз, бывало, когда кончится день, я припадал к земле и усердно молился богу: «Господи, не оставь меня без куска черного хлеба, а я вечно буду работать, разве что не в силах буду ни рукой, ни ногой шевельнуть...»

Потом такая тоска на меня напала, что я руки кусал и волосы рвал на себе, катался на соломе, как животное. А потом нечистый привязался ко мне. Не знаю, как и когда очутился под грушей с веревкой. Еще малость — и удавился бы. Но господь милостив, он знает, что творит. Вспомнил я про свой крест и пришел в себя. Ой, как припустился я, припустился я бежать на свой бугор! Не заметил, как у креста очутился. Долго-долго сидел я там, и мне как-то легче стало.

Вот стою я и говорю с вами, а этот бугор у меня из головы нейдет. Вижу я его, вижу так, что, и умирая, буду видеть. Все забуду, а его не забуду. Когда-то песни знал — на нем позабыл, сила была — на нем оставил.

Крупная слеза покатилась по лицу, как жемчужина по скале.

— И прошу я вас, мужики, когда будете на святой неделе поля святить, не обходите моего бугра. Кто помоложе, пусть взбежит и покропит крест святой водицей, а то ведь, сами знаете, поп на гору не пойдет. Покорно прошу вас, чтоб вы никогда мой крест не обходили. Буду за вас на том свете бога молить, только исполните волю старика.

Словно хотел рядном перед ними расстелиться, словно хотел добрыми серыми глазами навеки запечатлеть в сердцах гостей свою последнюю волю.

— Иван, кум, бросьте вы горевать, гоните по боку тоску! Мы вас всегда будем вспоминать. Были вы человек честный, не нападали ни на кого понапрасну, на чужую землю не лезли ни пахать, ни сеять и чужого зернышка не тронули. Нет, нет! Будут вас люди помнить и на святой неделе креста вашего не обойдут.

Вот так Михайла утешал Ивана.

5

— Все я вам сказал, дорогие хозяева, а теперь, кто меня любит, выпьет со мной. Солнышко уж над курганом, а вы еще и чарки водки со мной не выпили. Пока я еще в своей хате и за моим столом гости, так я с ними буду пить, и кто меня любит, тоже будет пить.

Началась попойка, та попойка, что превращает мужиков в одурелых парней. Вскоре пьяный Иван велел позвать музыку, чтоб играла для молодежи, которая заполнила весь двор.

— Эх, пляшите так, чтоб земля гудела, чтоб ни травинки на току не осталось!

В хате все пили, все говорили, и никто не слушал. Каждый говорил сам для себя: хотелось обязательно все высказать, хотя бы на ветер, но высказать.

— Коли я его вычистил, так уж он был вычищенный; который черный, тот словно как серебром почерну отливал, который белый, тот как снег, — аж лоснился. Кони у меня были в полном порядке — сам цесарь мог садиться! Ну, и деньжонки у меня водились, ой, водились...

— Вот бы мне очутиться среди такой пустыни — ну, чтоб только я да бог! Пускай бы я ходил, как дикий зверь, только б не видать мне ни этих шинкарей, ни панов, ни попов. Вот тогда б можно было сказать, что я пан. А эта земля... да пропади она пропадом, хоть сейчас пропади, так и не пожалел бы: чего тут жалеть? Били и мучили наших отцов, в ярмо запрягали, а нам уж и куска хлеба не дают. Эх, кабы этак по-моему...

— Не сыскался еще такой сборщик, чтоб с него оброк стянул, ой, нет! Был чех, был немец, был поляк, — извините, дермо взяли. Но как появился мазур,

так даже тулуп, зарытый под вишней, — и тот нашел. Скажу я вам, мазур — беда, — хоть глаза ему выжги, греха за него не будет...

Много было всяких разговоров, но они разлетались в разные стороны, как трухлявые деревья в старом лесу.

В шум, гам и крики, в жалобное веселье скрипки врывалось пение Ивана и старого Михайлы. Такое пение можно услышать порой на свадьбах, когда старики разойдутся и заведут старинные песни. Слова песни застревают в старом горле, как будто у них не только на руках, но и в горле наросли мозоли. Летят слова этих песен, как желтые осенние листья, которые гонит ветер по замерзшей земле, а они задерживаются у каждой канавки и дрожат своими изорванными краями, словно перед смертью.

Так пели Иван и Михайла о своих молодых годах, о том, как догнали они их на кедровом мосту, но те не хотели вернуться к ним, даже и в гости.

Дойдя до высокой ноты, они сжимали друг другу руки с такой силой, что суставы хрустели, а когда встречались печальные места, то склонялись друг к другу и, прижавшись лбами, горевали. Обнимались за шею, целовались, били кулаками себя в грудь и по столу и своими заржавелыми голосами наводили на себя такую тоску, что под конец не могли и слов вымолвить, только: «Ой, Иванка, братец; ой, Михайла, друг милый!»

6

— Отец, слышите, пора уже на чугунку, а вы словно подрядились петь.

Иван взглянул на сына, да так страшно, что тот побледнел и подался назад. Иван опустил голову на

ладони, о чем-то долго вспоминал. Встал из-за стола, подошел к жене и потянул ее за рукав.

— Ну, старуха, марш, раз, два, три! Пойдем нарядимся, как паны, и погуляем по-пански.

Оба вышли.

Когда вернулись, все в хате зарыдали. Будто туча слез, которая нависла над селом, вдруг разразилась, будто горе людское прорвало дунайскую плотину — такой был плач. Женщины подняли руки и, переплетая их, держали над старухой Иванихой, словно боясь, чтоб сверху что не упало и не раздавило ее. А Михайла схватил Ивана за грудь, бешено тряс его и выкрикивал, как безумный:

— Человече, коль ты хозяин, сбрось с себя эти лохмотья, а то набью тебе морду, как шлюхе!

Но Иван не смотрел в его сторону. Схватил старуху за шею и пустился с ней в пляс.

— Польку играй мне, по-пански, вот они, денежки!

Люди застыли, Иван тряс жену, словно уж и не думал выпустить ее живой из рук.

Вбежали сыновья и силком вынесли обоих из хаты.

Во дворе Иван все еще плясал какую-то польку, а Иваниха уцепилась руками за порог и причитала:

— Это ж я тебя этими ногами вытоптала, это ж я тебя этими ногами выбила!

И все показывала рукой, как глубоко она вытоптала этот порог.

7

Плетни вдоль дороги трещали и падали — все село провожало Ивана. Он шел с женой, сгорбленный, в дешевенькой серой одежонке, и поминутно отплясывал польку.

А когда все остановились перед крестом, который Иван поставил на бугре, он немного пришел в себя и показывал старухе на крест:

— Видишь, жена, наш крестик? Там выбито и твое имя. Не бойся: мое и твое...

1899 г.

ПОДПИСЬ

Маленькая Доця прохаживалась по лавке за спинами мужиков, а те, сидя за длинным столом, выводили свои фамилии. Каждый со своего образчика. Заскорузлыми руками прилаживались эти писаря с разных сторон, как бы половчее начать. Грудью так наваливались на стол, что он тяжко скрипел. Ученье проходило в тишине, слышно было только причмокивание губами, — это ученики слюнили свои карандаши. А белоголовенькая Доця заглядывала каждому через плечо: ладно ли пишет.

— Погляди, Доця, как оно получается?

— Да все лохматое, как нечесаный лен, пишите еще.

Мужик совал карандаш в рот и снова принимался писать.

— А ну-ка, на мое глянь, я его уже второй вечер чешу, аж грудь болит. Прочитай-ка, что я тут написал?

— Павло Лазыренко.

— Аккурат я! Так оно там и стоит, что всякий узнает?

— Кто грамоте обучен — узнает.

Павло покраснел от удовольствия и разглядывал лист со всех сторон.

— Дай-ка, я еще раз его выпишу, — и наклонился, слюнявя карандаш.

Доця степенно расхаживала за спинами хозяев; ее мать посматривала с печи и все унимала ребятишек, чтобы не шумели, а то дяденьки перепутают нумера.

На скамье сидел старый Яков Яремов и с превеликим удовольствием смотрел на это ученье. Наконец не утерпел, чтобы не заговорить. Два часа внимательно наблюдал, а теперь не выдержал.

— Эх, хозяева, да оставьте малость на завтра, а то, гляди, грудь себе надорвете.

Мужики подняли головы, — они совсем осоловели.

— Вот я вам какую благодать выискал, и должны вы меня отблагодарить, а Доце подарочек купить.

— И кто это вас надоумил?

— Беда навела.

— Какая беда?

— Векселя! . .

И старый Яков в сотый раз принялся рассказывать, как все это получилось.

— Вы ведь знаете, что ради водки я не закладывал землю в банках. Да за это меня и бог покарал бы. А тут старуха подбила.

— Как старуха?

— Вот вы и молодые, и писать, вишь, обучаетесь, а ничего-то не знаете. Пришла это она из кладовки и говорит: «Ой, старик, муки-то у нас совсем нет, миски две в мешке осталось». Подумал я, подумал, да и айда в город записаться на сотенку в кредитном банке.

Пришел я, понимаете, в этот банк и говорю: так, мол, и так, хлеба детям нехватило, прошу, пане, вашей да божьей милости, выдайте в долг сотенку.

— Земля есть?

— Есть, — говорю, — пан, без земли нынче кто же даст.

— На тебя записана?

— На меня.

— Не заложена, чистая?

— Ни-ни, чистенькая.

— Долги есть?

— Может, малость какая по лавочникам... Да разве это долги? Так, прыщик. Я этой сотней-то и детей прокормлю и лавочникам рты позатыкаю.

— Неси бумаги на землю и справку, что земля не заложена, пойдешь на заседание.

— А когда, — говорю, — на заседание-то приходить?

— Толкуй с мужиком! Ты сам-то не потребуешься, бумаги твои нужны.

— Прощенья прошу, пан, не разобрался я, а бумаги — глядите — вот они. — Вытащил из-за пазухи да и подал. — Тут, — говорю, — кажись, все есть, потому как я всегда все бумаги вместе складываю. Я знаете, в этих делах ничего не смыслю, вот и держу все вместе.

Перебрал он бумаги, нашел, что ему надо, и говорит:

— Через неделю приходи.

Ходил я туда раза три, под конец говорят, что деньги постановлено выдать.

— А писать, старик, умеешь?

— Эх, пан, где там! В школе меня не учили, в солдатах не был, совсем темный.

— Придется подписывать у нотариуса.

— А я, извините, знак положу своей рукой, крестик, а вы подпишете...

— Нельзя, — говорит, — на векселях кресты ставить...

Призадумался я. Это как возьмут за подпись да проценты вперед вычтут, да нотариусу уплачу, так от того капитала мало что мне останется.

Кинулся я по городу за поручителями и повстречал сапожника, этого ворюгу Ляпчинского. Он, чисто беда какая, знай по городу слоняется. Остановил его, рассказал о своем горе.

— Мужик, — говорит, — дурак, всю зиму на печи валяется, а не может научиться даже свое прозвание написать.

«Хоть ты и ворюга вечный и прихлебатель панский, а слова твои правильные», — подумал я и побежал дальше.

Привел поручителей, подписались у нотариуса, а из сотни тринадцать левов урвали.

Несу я те деньги домой, а сапожник из головы не идет. Вор-то он вор, а слова правильные говорит. Гляди, ведь прямо шкуру рвут, сдирают, как с вола... Словно бы сотню взял, а домой что несу?

Дойдя до этого места, Яков каждый раз плевался, плюнул он и теперь.

— Всякому хочется руки погреть, всякий норовит на дармовщинку, потому и жить трудно так стало, и что дальше — все труднее.

Спрятал я деньги в сундук, а сам к Доце. «Ты, говорю, Доцька, научи деда подпись ставить, чтобы дед больше панам глотку не напихивал, она и так напихана. А я тебе, глядишь, на платье куплю!..»

— И научила, а вы на селе, как прослышали, всё смеялись над дедом. А тут самим круто пришлось: надо векселя подписывать, — и вы к Доце. Это я вам дорогу показал, не будете теперь зря деньгами сорить.

— Оно верно, не будем, — отвечали мужики, — и вам благодарны и Доце, нашей учительнице.

— И все вы должны ей подарочки принести.

— Непременно...

Доця счастливая сидела на печи, а мать, глядя на нее, улыбалась.

1899 г.

ПОЛЕ

Без конца оно, без края — глазом не окинешь. Плывет под ветром, утопает в солнце, заливает крестьянские пашни. Словно широкий длинный невод, вылавливает оно эти пашенки, как мелкую рыбешку. Вот какое поле.

Высохшая ботва картошки шуршит на нем. Под кустом маленький ребенок. Возле хлеб, огурец и мисочка. Черный сверчок коснулся ножки и отскочил. Зеленый кузнечик держится поодаль. Медножелтая жужелица торопливо обегает ребенка.

А он плачет под шелест ботвы. Он перевернулся и упал ничком. Упал ртом на куст. Судорожно бьется ножками, упирается и медленно синеет.

А посреди выкопанной ботвы спит мать. Ноги — сплошная рана, искалечены, изрезаны, исцарапаны. Черными волосами будто приросла к черной земле, точно камень.

Солнце весь свой зной хотело бы собрать на ее лице. Но не в силах разбудить ее и заходит за тучу.

Черный ворон взвился, кружится, кружится и каркает.

Вдруг вскочила. Напряженно прислушивается.

— Ой, что ж это я! За работой спать!

Схватила лопату и принялась выкапывать куст за кустом, куст за кустом...

— Хорошо, что спит. Уж такая мука, такая мука ему, да и мне с ним! А заработать надо — зимой никто не накормит.

И, наклонившись, копает быстро-быстро. А тот куст обходит. Так спокойно, когда он спит...

1899 г.

БЫЛОЕ

Они все трое: дед Дмитро, бабка Дмитриха и дьяк Базьо давным-давно умерли, и над их могилами цветут и родят вишни, а дубовые кресты у них в изголовьях покосились.

Дед Дмитро выделил четырех сыновей, а как выделил, то остался в старой хате со своей старухой. Да не только со старухой, но и с волами, и с коровою, и несколькими моргами земли. За двором и за волами смотрел дед, а в хате хозяйничала старуха, поле засевали сыновья, а убирали бедные люди за сноп и за третью долю урожая. Дед ходил за волами, поил их, чистил, убирал в хлеву, подметал двор и вырывал чертополох у плетня. А самая главная работа его была такая: он лез на чердак хлева и переворачивал там старые плуги, бороны, решетки от яслей, ярма; всего этого хлама немало накопилось в хозяйстве за пятьдесят лет. И все что-то он сбрасывал с чердака на землю и волок на траву перед хатой. Осматривал, прилаживал и поправлял. Это была самая любимая его работа. Он, видно, вспоминал за этой работой свои молодые годы,

и поэтому, должно быть, она была ему так по душе. И если он не чистил волов, то непременно мастерил что-нибудь у старого ярма или у старого плуга.

Волов выкармливал три года, а на четвертый — гнал в город на ярмарку. Продавал их за четыре сотни, за двести ринских[1] покупал молодых волов, а две сотни прятал в старую податную книжку и запирал в сундук.

Урожай не молотил по десятку лет, и двор его был сплошь заставлен маленькими стогами. Самый старый стожок был черный, следующий — серый, чуть моложе его — сероватый, летошний — белый, а нового урожая — желтый, как воск.

Каждый месяц дед осматривал все стога, не поели ли мыши, не попрело ли зерно. Вытягивал из каждого по пучку стеблей и нюхал и разглядывал, не сечется ли колос. И если видел, что какой-нибудь стог надо было обмолотить, то нанимал молотильщиков и опять прятал деньги в податную книжку и запирал на замок.

В церковь ходил через воскресенье по очереди со старухой: она на первую богородицу, он на вторую, она на пасху, он на рождество. В свое воскресенье он лез на чердак и сбрасывал оттуда в сени большие сапоги и маленькие. Большие — это его холостяцкие, свадебные, с молодых лет, а маленькие — сыновей, когда те были еще мальчиками. С этими сапогами садился он на завалинку, обтирал с них пыль тряпкой и смазывал дегтем. Одну пару надевал в церковь, а остальные ставил рядком на солнце, чтоб деготь впитывался. А старухе наказывал, чтоб она не только чистила волов, но и за сапогами присматривала, а не то пес может их затащить. В церкви отбивал поклоны, клал на подно-

---

[1] Ринский — гульден, австрийская монета.

сик крейцеры, покрытые зеленью, и, вспотевший, выходил вместе с народом.

— Дедушка, вы разучитесь и разговаривать, — подшучивали над ним люди.

— Мои сверстники повымерли и на войнах погибли, мне не с кем разговаривать.

Возвратившись домой, ел хлеб с чесноком либо сало, если не было поста. Сала в амбаре стояло три бочки. В одной — трехлетнее, желтое и мягкое, как масло, — дедова бочка, в другой двухлетнее, полужелтое, полубелое, — бабкина бочка, а в третьей — нынешнего года белое, как бумага, — это было для детей: они любили только свежее сало. После обеда дед шел глядеть на волов, потом закидывал сапоги и сапожки на чердак и шел спать под вишню. Вот так коротал он дни за днями — мирно и спокойно. Зубы никогда у него не болели; никакая хворь его не донимала, и за всю свою жизнь ни разу не видел он около себя знахарки.

Дмитриха была огонь, а не баба. Очень любила поговорить, посудачить, а без этого и сон ее не брал и еда на ум не шла. К старику с разговорами и не подступала; он всегда молчал, а когда бабка хотела с ним хоть словом перекинуться, так он бросал старую борону или оглоблю и убегал от нее.

— Вот старое пугало, думает — целовать его буду.

И, плюнув, шла за ворота или к пруду искать баб, охотниц поболтать. А дед возвращался к своей работе и ворчал себе под нос:

— Ясно дело, что уж состарилась; и лицо, что кожа на старом сапоге, и волосы, как молоко, а вот язык не состарился. Сто мер за день бы перемолола да еще поглядывала б, нет ли других ста. . .

Бог не дал старухе дочки. В молодости она все ждала девочку и готовила для нее приданое. Но дочки

так и не дождалась, а старуха наткала да нашила столько, что перекладины на жердях под полотнами и ковриками прогибались. Дед не раз спрашивал всердцах, и кому это она столько тряпок ткет да нашивает.

— Иди, иди, старый, не суй носа в мое добро, а не то я весь твой хлам, что черви на чердаке источили, в огонь кину. Тронь только мое добро, так все твои плуги и ярма в печку полетят!

Дед, съежившись, как воробей, удирал, — куда уж ему с такой бабой воевать. А старуха усаживалась на лавку против жердей и разговаривала сама с собой:

— На каждой перекладине положено всего поровну — и там, и там, и там. Пусть каждая сноха берет себе любую — хоть ту, хоть эту, — любую — все одинаковы. А пятая—на церковь за упокой души старика и за меня, эту не трожь ни одна, а не то руки отобью!

В воскресенье пополудни приходили к бабке все невестки с внучатами. Такие чернобровые, как бархатцы, такие румяные, что калина. Старуха усаживала их за стол, угощала салом нынешнего года и говорила с ними и кудахтала, словно квочка среди цыплят.

— Как умру, каждая бери себе любую перекладину с жердей, все одинаковы, потому что вы для меня все равны — мои дети. Но если дед меня переживет, то ни одна не смей нитки взять. Он бы так затужил, что сразу бы помер. Да и мужьям закажите, чтоб они у него с чердака и щепки не брали, он все это так любит, что и дня без этого не проживет. Этим бы они его доконали! Сохрани, господь! А как я помру, то вы, все четверо, причитайте по мне пригожими голосами, красными словами! А уж когда дед помрет, так по нем вы должны причитать еще более пригожими голосами, еще более красными словами. Он вам оставит столько денег, что хоть играйте ими...

Старуха плакала, и невестки тоже плакали, а потом она каждую из них целовала и вела на чистую половину хаты показывать коврики. На дворе внуки играли с дедом, и каждый держал в руке булку или яблоко, подаренное бабкой, и внимательно рассматривали старое ярмо из явора. Дед показывал им вырезанные на ярме плуги, волов, погонщиков и говорил, что вот и они также скоро пойдут пахать в поле.

Когда заходило солнце, невестки с внуками отправлялись домой, а старуха провожала их за ворота и там еще долго отводила с ними душу.

А третий среди них был дьяк Базьо. Он не был им ни сват, ни брат, а только жил рядом, через огород. Бабка Дмитриха всегда носила ему обед и ужин, — он был старый и одинокий. Но, видно, никогда и не ел бабкиного обеда, так как всегда был пьян.

— Базьо, ну зачем вы столько этой горилки пьете? Да она у вас в нутре когда-нибудь загорится!

— Бабушка Дмитриха, ну как мне не пить, коли в моей голове книжки, как зайцы, прыгают! Каждый стих, каждое титло лезет, чтоб я его пел или читал, а у меня голову распирает. Соберутся все, как туча малых ребятишек, и хотят в одни узенькие двери разом пролезть и дать о себе знать. А моя голова вон какая маленькая, да еще остриженная, куда мне их девать? Вам хорошо, коли вы своих детей разделили по усадьбам, а мои все вкупе. Вот и приходится их горилкой поить, чтоб они перепились и оставили меня в покое!

Бабка сокрушенно покачивала головой.

— Вот она, наука-то, какая страшная, это тебе не цепом махать!

И опять давала Базьо денег на водку.

За то он нередко по воскресеньям приходил в хату к бабке и читал смешные книжки. Сыновья и невестки

помирали со смеху над Луцем Заливайко да над индюком, у которого только и разума, что в хвосте.

А однажды Базьо прочитал им такую страшную книжку, что бабка и невестки расплакались от страха, да и сыновья приуныли.

«Земля не даст плодов своих, на скоты ваши пошлю мор, и погибнуть вам, а люди ваши потоплю. Дожди не упадут на землю, и земля будет, аки камень, и не даст плода своего. . .»

Базьо и сам смекнул, что хватил через край, но нашел в этой книжке такие слова:

«Кто сие писание при себе имеет, либо часто читает, либо со вниманием слушает, либо переписывает, тот сподобится милости божией... Тому дому, где это писание находится, ни огонь, ни вода, ни гром, никакая напасть повредить не может. . .»

Это немного подбодрило и Базьо, и старуху, и невесток. Они сейчас же дали дьяку денег, чтоб тот купил им такую книжку. За бабкой и невестками потянулись все женщины села и давали дьяку деньги, чтоб и их хаты были застрахованы от огня и грома. Дьяк накупил книжек да еще и новую суконную куртку себе справил, а заодно и новую фарфоровую трубку. А потом каждое воскресенье читал эту книжку всякий раз у новой хозяйки и брал за это по две шустки на водку и калач, чтоб было чем закусить. Почти по всем хатам прочел он эту книжку, оставалось только несколько самых бедных хатенок возле леса, как Базьо неожиданно занемог. Бросило его в озноб, потом в жар, а потом, рассказывали люди, изо рта его показался маленький синий огонек, и Базьо отдал богу душу. Видать, водка в нем все-таки загорелась. И надо сказать, что все женщины по нем плакали и голосили, как по родном брате.

Бабка Дмитриха недолго погоревала и сама осенью отправилась за дьяком в далекий путь. Дед Дмитро тоже недолго протянул без бабки и к весне сошел в могилу.

Люди о них уже забыли, давно это было, как они умерли. Только грамотные частенько вспоминают их, когда заговорят о том, как появилась в селе читальня.

— А начало читальни идет еще от старого деда Дмитра, и от бабки Дмитрихи, и от дьяка Базьо. Это в их хате впервые дьяк начал читать книжки. И поныне еще кое-где под балками в пазах заткнуты «Божьи листы» и «Луци Заливайки», только теперь их уже никто не читает, минуло...

— Ой, минуло!

— И трехлетнее сало минуло.

— Эх, и конем не догонишь!

1900 г.

ПОДЖИГАТЕЛЬ

1

Сельский богатей Андрий Курочка сидел за столом и обедал, не ел, а давился каждым куском. Домашние входили в хату, таскали помойные ведра, суетились, переругивались, уносили пойло скоту. И дети богача и работники были грязные и хилые. Они влачили на себе неотесанное, тяжелое ярмо и не знали ни покоя, ни радости. Сам богач, проклиная свою судьбу, неустанно подгонял и детей своих и батраков.

Около него на лавке у окна сидел его бывший работник, старик Федор.

— Минуты у меня не бывает такой счастливой, чтобы спокойно проглотить кусок хлеба. Бегаю, подгоняю, и вот увидите, как я свалюсь и подохну! Мне и еда-то не идет в глотку, раз я знаю, что они без меня в риге ничего не делают! Им бы только нажраться да день провести. Что уж о чужих говорить, если свои дети — и те не хотят работать. Ей-богу, я не знаю, как они на свете будут жить? По миру все пойдут!

И ел так, что глаза на лоб лезли.

— А ты зачем, Федор, пришел?

— Будто вы не знаете, зачем мы ходим. Зима наступает, а я босой, дайте мне два лева, отработаю.

— Да какой же из тебя работник? Ты свое уже отработал, Федор.

— Да я бы и не работал, если бы кто даром кормил.

— Э, нет! Нынче задаром не кормят, нынче и за работу-то не стоит кормить, такая это работа! Говорил я тебе, чтобы твоя девка шла ко мне внаймы, были бы у тебя свои деньги!

— Да вот ведь, не захотела и пошла в экономию.

— Ну, известно, кому не хочется работать, тот и прется в экономию; там хоть еды мало, да можно поваляться вволю. Народ теперь такой пошел, им бы и раз в день поесть да ничего не делать, тут им и рай! Как поработают, так и получат, так им и бог пошлет. Нынче в веревку надо скрутиться, чтобы чем-нибудь разжиться. . . Эти два лева я тебе еще дам, ничего с тобой не поделаешь, может как-нибудь и отработаешь. Но больше не являйся и не ной, не получишь. Сам видишь, что твоя работа ничего не стоит.

— Да я, Андрий, должен возле людей держаться, куда же мне деться-то?

— Девайся куда хочешь, а хозяевам ты уже не

подходишь. Ищи себе службу у пана или у арендатора, там работа полегче.

— Хороший же вы мне совет даете! Силу свою я на вас потратил, а на старости лет мне итти арендаторам воду таскать?

— Ты у меня не задарма работал.

— Ну, будьте здоровы.

— Эти попрошайки все растащат, только дай! Ведь кашляет, слюнявый, цепа в руках не удержит, а еще петушится. Чтоб тебе голову сломить! Думает, что я деньги кую или краду! . .

Федор шлепал домой по грязи и все шептал:

— Где я, Андрийка, силу свою положил? Что я ее проплясал или пропил? Ведь вся она осталась у тебя, на твоем дворе. Где я, Андрийка, силу свою положил?. .

В хате скинул сапоги и лег. Лежал до самого вечера да так без ужина и заснул. Но еще петухи не пропели, как он вскочил, ударился боками о доски, полежал, потом снова вскочил. В маленькое оконце глядела на него осенняя ночь. И словно не ночь, а черная кручина, вопившая по углам хаты, глядела на него серым безжалостным глазом. Она так охватила его, что он не мог и пошевельнуться, и показывала ему не то лики за оконцем, не то видения в воздухе. . .

. . . Вот он сидит с маленькими барчатами, приглядывая за ними, нянчит, а они таскают его за волосы, плюют ему в лицо. . .

Вот он в церкви, на коленях, в том углу, где нищие лбами колотят о пол. Он бьет громче всех, и женщины идут к нему, и каждая подает ему хлебец. Он кладет хлебцы за пазуху, кладет и становится такой широкий, что люди расступаются. А ему так совестно, и лоб так болит! . .

О-о, это он идет по огороду Курочки, — не идет, а крадется к риге. Вытаскивает снопок из стрехи, высыпает в него из трубки жар и бежит, бежит... Слышит позади, словно глазами видит, как из-под стрехи высовывается маленький красный язычок — высунется и спрячется...

— Ой, ой, ой!..

Этот язычок опалил его мозг.

Насилу он освободился от невидимых пут, вскочил и посмотрел в оконце. Оно, как палач, пронизывало его насквозь. Вот оно опять повалит его и будет пытать своими видениями. Охваченный страхом, он не находил никакого выхода, свернулся клубочком, чтобы как-нибудь укрыться. И перед ним словно ворота отворились, ему стало легче, и он торопливо пошел туда...

2

Было ему лет шестнадцать, когда он ушел из своего села. Он никогда больше не видел такого ясного дня, такого веселого солнца. Оно ласкало зеленые травы, синие леса и чистые потоки. За селом оглянулся. Если бы кто подошел и сказал хоть одно слово, он вернулся бы, ой, вернулся бы!

— Он бьет меня, терзает, есть не дает, мне наготу свою нечем прикрыть, — разносился его голос по зеленым лугам. — Пусть вас, отец, земля не примет!..

И еще быстрее зашагал. Миновал сельские поля, прошел через два села и с холма увидел город, блестевший на солнце, как змей сверкающий...

Все удивлялись его силе и побаивались. Паны не понукали его, а батраки не задевали и не подшучивали

над ним. Швырял мешки, как галушки. И так день за днем, то с воза в амбар, то из амбара на воз.

— Хребет у меня трещит от этих мешков.

— Пей водку, — занемеет.

И правда, от водки хребет занемел, все как рукой сняло.

По воскресеньям и праздникам ходил с компанией в кабак. Кабаки стояли за городом, между селом и городом. У кого уже не было пристанища в селе, тот брел прежде всего сюда, а кто в городе оставался без работы, тот также возвращался сюда. Это было не село и не город.

Случались там забавы, в этих кабаках.

Сначала городские заводили. Рассказывали о своих былых достатках, о том, сколько из цесарской казны каждого первого числа получали, какие одежды носили. Мужики слушали их почтительно и угощали водкой. Но, подвыпив немного, вырывались из-под этого влияния, и тогда господам приходилось туго.

— А ну, паны, вот что: беритесь-ка за шею и пляшите нам польку, а мы поглядим, как это у больших панов выходит!

Панам приходилось плясать. Мужики обступали их и хохотали так, что кабак гудел.

— Гоп, дружно!

— Еще раз!

— Полегоньку, плавно, враз!

— Ну, хватит! Теперь выпейте горилки, забирайте своих панских вшей по карманам и марш отсюда! Мужики хотят одни поплясать!

И городские, как зайцы, разбегались.

— Я этих панов умею муштровать, они легонькие, как пух, подуй — и полетят...

— Эй, шинкарь, давай горилки, давай рому, тут одни свои!

Кабатчик быстро выставлял все на стол и сразу получал деньги.

— Ты, Безбокий, чего ревешь? Бока свои оплакиваешь? Пей да заткни глотку, мне весело!

Безбокий зарыдал еще громче.

— Тише, а то побью!

— Не тронь!

— А ты кто такой?

— А ты что за пан?

Федор встал из-за стола и хлопнул задиру по лицу.

— А-а, ты в воскресенье драться? Это грешно! — и ударом скамьи повалил Федора наземь.

Образовались два лагеря. В кабаке все зашевелилось. Кабатчик убежал. Водка, булькая, лилась на землю, столы и скамьи покраснели от крови и разлетались в щепы. А в грязи из водки и крови лежали обе стороны и стонали. Только Безбокий сидел в уголке и ревел, как вол, неведомо по ком и по чем.

Вскоре прибежала полиция и принялась вытрезвлять голытьбу. С грехом пополам поднимали на ноги, потом одним махом сбивали с ног. Люди падали, как дубы, а поднимались, как глина. Так их протрезвили и отправили под арест.

Ехал проселком среди полей. Пшеница и рожь, будто золотые и серебряные леса покачивались под легким ветерком. По золоту и серебру проплывали легкие темные облачка, как тонкая шелковая сеть. Море солнца в море бескрайных полей. Земля под колосьями гудела, пела, словно разговаривала. . .

— Мошка, на вожжи, ухожу от тебя.

Спрыгнул с воза и пошел межами среди ржи. Под вечер пришел к Андрию Курочке.

— Да ты, верно, вор или лентяй, хорошему-то человеку незачем уходить из своего села да шататься по свету.

— Сами увидите! Отец мой чего после барщины не пропил, то в голодные годы распродал, потом принял зятя к сестре, а сам помер. Зять этот меня так бил, что я сбежал из дому.

— У вас, у прикарпатских, говорят, на коровах пашут?

— Нет, это, кажись, еще подальше нас немцы живут, так они на коровах пашут.

— Ну, скидай постолы да вынеси кожух в сени, а то вшей напустишь. И ложись... А церковь у вас какая, как наша? И поп есть?

— Всё как у вас.

— Ну, посмотрю, какой ты удался. Если не вороватый да работы не боишься, тогда найму тебя.

Нанялся. Село узнало его, — не вор, хороший работник, о себе заботится, — и приняло, как своего. Он знал, какое поле как называется, чье оно, вымокает или сохнет, кто в селе отъявленный вор, кто всех богаче. Стал селянином.

Отслужил несколько лет, и добрые люди посоветовали ему стать хозяином.

— Ты не будь дурак, если дадут кусок огорода, а девка ладная, старательная, ну и бери. Деньги есть заработанные, еще подработаешь, поставишь себе хату. Пусть она будет, как хлев, зато своя. Дождь ли, зима, или работы не стало, ты уже не кукуешь за угол у богача, не гниешь в яслях, потому что у тебя есть свой угол. Послушайся меня, старика...

Женился, строил хату, надрываясь на своей и чужой работе. Доски таскал на плечах из города, отрабатывал старые снопочки, взятые на стреху, и зарабатывал деньги то на окна, то на двери. Два года прошло, пока поставил хату. Хатенка маленькая, неказистая, выглядела среди других хат, как взъерошенная курочка среди красивых птиц. Но Федору она и такая была мила...

Прошло десять с лишком лет, и к Федоровой хате пришли люди с золотыми хоругвями. В хате на лавке лежала его Катерина, большая, толстая, почти страшная. Федор обнимал двух девочек, одиннадцатилетнюю Настю и восьмилетнюю Марийку, и всё их спрашивал:

— Что же нам, доченьки, без матери делать? Которая из вас отцу обед сварит?

А когда жену укладывали в гроб, он заплакал.

— Берите ее полегче, ведь у нее всё тело изболелось. Ой, Катеринка, не успел я с тобой и наговориться, а ты разгневалась и ушла от меня...

Он припал к покойнице и целовал ее лицо.

— Люди, люди, некогда мне было с ней и слова сказать, я за работой и ее забывал, и все разговоры. Прости меня, Катеринка, друг ты мой хороший.

Плач женщин вырвался из хаты и понесся далеко по селу.

— Она, люди, пошла за меня, как в воду нырнула, никто ее больше и не видел на людях-то... А теперь выплыла перед вами... на лавке. Я ведь ей ни разу слова худого не сказал...

И еще прошло несколько лет. Однажды вечером пришла с работы Настя. Федор взглянул на нее и побледнел.

— Настя, родная, да ведь ты одинокая, где же твой муж?

Настя зарыдала, заголосила, а он ни слова ей больше не сказал. Только, когда провожал в город на работу и прощался с нею, тогда заговорил.

— Дай тебе бог, дитятко, всего лучшего, только гляди, ребенка не загуби, стыда все одно не покроешь, а грех-то потом не замолишь. Да передавай, как там тебе будет...

Годы шли, не стояли. Федор всю зиму не выпускал из рук цепа, с чапигами не расставался всю весну, а с косой — всё лето. Кости болели, в суставах горело, будто натерло. Только воскресенье приходило на помощь, в воскресенье он шел под вишню, ложился на зеленую траву, и она высасывала из него всю боль. Но настало время, что и воскресенье не могло поправить того, что будни портили, а трава не могла выпить боль, запекшуюся в старых костях. А еще одолевал кашель, не покидавший его ни у косы, ни у плуга, ни у цепа...

Светало, оконце побелело, и Федор вернулся из далекого странствия по прожитой жизни. Умылся, помолился и собрался итти в экономию.

— Наймусь к пану с весны, возьму на сапоги да немного натурой, вот как-нибудь и перезимую, а там пойду на работу.

3

Белые узенькие тропинки все хаты воедино связали, только Федорова хата стояла в стороне от сети дорожек, словно нежилая. Федор зимовал, как мед-

ведь. Утром вставал на час, чтобы истопить и сварить себе поесть, а потом весь день и всю ночь пролеживал на печи. Чем дальше затягивалась зима, тем больше он впадал в детство.

— Теперь, Федор, бедняга, встань да отрежь себе ломтик хлеба, только тоненький, господский, а то ты, видать, проголодался.

Он смеясь слезал с печи и отрезал хлеба и глядел на свет: тоненький ли кусок, господский ли. А в темные зимние ночи он громко, на всю хату, говорил страшные слова:

— Село вымерло дочиста, а я и думки не думаю, в ту сторону и не взгляну.

Но собственные же слова рождали в нем испуг, он потел со страху и спрыгивал с печи к оконцу, желая убедиться, что в кабаке есть свет. Успокоившись, он возвращался на печь.

А когда просыпался ночью, то не мог сразу опамятоваться, лежал в забытьи и, только грохнув кулаками о потолок, приходил в себя.

В ту зиму его хату заполонили упыри, призраки и видения. Они плясали по хате, как озорные дети. Выбегали в сени и выстуживали хату, вылетали через трубу на крышу и так плясали, что потолок трещал, позвякивали в окна, чтобы выманить его во двор. Он не поддавался, прогонял испуг, тогда они забирались на печь и щипали его, душили и в рот онучи запихивали. Как-то ночью в хату слетелись все черти. Плясали так, что хата тряслась, а ветер такой поднялся, что он замерзал на печи. Потом уселись за стол, в изнеможении высунув языки, — точь-в-точь такие, как тот маленький язычок, который он подсунул под ригу Курочки. Он лежал, как мертвый, пока петухи не пропели, тогда он едва поднялся и стал творить молитву.

Но и тут они не давали ему покоя. Он не мог вспомнить молитвы, которые хорошо знал, он забывал даже перекреститься. Эти видения так извели его, что когда пришла весна, он чуть дышал и побелел, как бумага.

— Надо денег занять, где хочешь, да освятить хату, а то нечисть сползлась тут со всего света. Выпили всю мою кровь, меня ветер с ног валит.

Когда весеннее солнце заблестело, он смазывал сапоги, латал рубашки, плел завязки к постолам и радовался, что скоро пойдет на работу.

— Оденусь получше, обуюсь — и в экономию: «Прошу вельможного пана, вышел на работу».

— Хорошо, Федор, — будто бы отвечал ему пан, — ты, вижу, исправный человек, как подписку дал, так и являешься.

И Федор, латая рубаху, сладко улыбался.

4

Федор стоял на панском гумне и печально глядел на ряд плугов, тянувшийся из ворот, как цепь, в которой железо спаяло мышцы людей с мышцами волов.

— А моя пахота уже кончилась. Состарилось звено, его и выкинули, а то цепь посреди дороги лопнет.

Покачал головой и пошел к риге набрать зерна для свиней. Весь день на гумне было тихо. Только от батрацких хаток доносились крики баб и плач детей.

Если собрать со всего села самые убогие хатенки да к ним согнать самых оборванных мужиков и измученных женщин, добавив еще голой мелюзги — детей, и все хаты поставить рядом, одну к одной, то получится правдивый облик вот этих батрацких хаток с их обитателями.

Федор со двора поглядел на эти хаты и замотал головой:

— Да чтобы я пошел в такое пекло? Нет, я буду вот тут спать, в хлеву, теперь не зима. Не пойду я туда, в эту погибель.

Вечером вошел в хлев. Около яслей двумя длинными рядами стояли волы, лениво дожевывая сено. На каждых четырех волов полагался погонщик, присматривавший за тем, чтобы волы не сбрасывали под ноги корм. Между этими рядами сидели на земле пахари и сеятели. Латали постолы, стягивали веревочками дыры в одежде и поправляли палки, которыми счищают землю с плугов. Каждый что-нибудь делал. К ним присел и Федор. Волы один за другим опускались на солому, тогда в ясли заваливались погонщики, а за погонщиками шли пахари. В хлеву воцарялся тяжелый покой, падал на хлев после изнурительной работы, как тяжелый камень. Федор также расположился в яслях.

— Эй, свинарь, марш от волов к свиньям! Тебе еще тут постель постелить. Твоя Марийка здорово нас донимает. Бегает, как сука, за кучером, отдает ему самое лучшее, а тут еще ты прилез на нашу голову. Марш отсюда!

Федор вылез из яслей и лег у входа на вязанку соломы. Забытая обида в эту минуту пробудилась.

— Грешно тебе, Андрий, грешно...

Хлев стонал, позевывал, разговаривал во сне. Так тяжко дышал, будто где-то глубоко в земле задыхались тысячи людей.

— Молись за меня, чтобы господь не попустил, на разум направил, а то изжарю тебя в огне, как крысу, будешь три дня пепел от своего богатства сгребать...

Под утро и он провалился в темную пропасть сна.

5

Федор потом уже не ходил в хлев и не разговаривал с батраками. Спал в риге и не показывался на глаза. После пасхи Мария вышла за кучера и перешла к другому пану. Федор вышел с ними за ворота, попрощаться.

— Помни, Марья, что я хату при людях Насте откажу, чтобы ты ее не выгоняла, ведь она, бедняга, одна-одинешенька.

И вернулся. В хлеву, чтоб никто не видел, заплакал.

— Вот теперь и живи, с кем хочешь!

В тот день напился и вечером пришел в хлев.

— Эй, наймиты хозяйские, теперь меня не гоните, моя Марья ушла уже.

— Да кто вас гонит, вот ложитесь и спите, раз накачались выше головы.

— Верно, пьяному надо поспать, сам бог велит. Ты вот говоришь, спать, а я тебя спрашиваю, где мне спать? Если у тебя такая мудрая голова, ты мне скажи: где я должен спать?

Он вплотную подошел к Процю, прямо нос к носу.

— Где свалитесь, там и будете спать.

— А если я вот тут, в ясельках, а?

Он зло рассмеялся.

— Я в ясли, а ты меня за холку да в шею, да палкой, марш, старый пес! . .

Погонщики вылезли из яслей, чтобы поглядеть на это зрелище.

— Бей, гони из яслей, ведь ты тут гнил и будешь догнивать! Разве ты знаешь, что такое есть человек, ты — вол, у тебя своей хаты никогда не было! Ты порядочного человека из яслей палкой! Вот ты меня спрашиваешь: а где ты, почтенный, был? А я тебе го-

ворю: был я среди людей, любо мне было. Но ты говоришь: почему же люди тебя прогнали? Вот тут-то и заковыка! А я тебе ничего не скажу, только три слова: нет у людей бога. Да ты, голова умная, и сам все знаешь...

— Идите, старик, спать, бросьте вы эту чушь. Завтра вот пойдем на выборы в село, мы там этих богатеев малость пугнем!

— Я на выборы-то пойду, я людям всю свою обиду выложу, а только в ясли не полезу, не хочу я там гнить. Я получше знаю способ, я больше свет повидал, чем твой пан. Вот погоди, я тебе все скажу, как на следствии. Я босяком кабацким был, под лавкой валялся по кабакам, все тюрьмы прошел. А бог пускай грехи записывает, я не боюсь, я за все отвечу, — так отрублю ему, как первому встречному. Кто меня уму-разуму учил, а? Меня только били, чем попало! Не бойся, я выскажу, все выложу. Вот нашло на меня господне просветление, и я назад вернулся к своей вере. Эту его ласку небесную я увидел в поле, когда рожь просилась под серп и земля прямо стонала: иди, Федор, убери мой хлеб, — вот тогда я и бросил шинкаря среди дороги и пошел на божью работу. Благодарю господа и по сей день!

Он крестился, целовал землю и бил поклоны.

— Пришел я к нашим людям, и передо мной свет растворился. Ну, с ними я и потрудился! Женился, хату сложил вот этими мозолями. Уж хорошо мне стало. Но грехи надо искупить, бог не палкой бьет. Умерла моя Катерина, ну что ж, его воля, его возмездие. Утешаюсь детьми, кормлю, забочусь, рощу. Я вырастил, а люди взяли да изувечили. Пошла моя Настя ни то, ни се, в наймычки, а Марья вот побрела с этим ляхом. Хлебнет она горя. Ну что ж, пускай меня бог покарает, если что-нибудь скажу. Кара должна быть...

Он сжал пальцами губы, чтобы не говорить против бога.

— И остался я босой. Иду я к нему в самую непогоду. Дай мне крейцер, ноги обуть. А он мне говорит: иди в батраки. Пришел я к вам, а вы мне — марш! Куда же мне теперь итти? Карает бог, карают люди, караете вы, как же мне столько кары вынести?

— Идите, дедушка, в ясли, мы вас просим.

— Пускай будет кара, я ее принимаю, но по правде. А тебе по нраву будет, если я из твоего хлеба съем весь мякишь, а тебе оставлю одну обгорелую корку? Верно, не понравится, потому что это не по правде!

Он разодрал рубаху, скинул ее и швырнул под ноги волу.

— Вот, глядите, какую шкурочку богачи оставили мне! Как же тут жить, что же тут еще карать?!

Он голый лежал на земле. Батраки укрывали его, чем могли.

6

У сельской канцелярии стояли две кучки: одна — оборванная, чужая на селе, безразличная; другая — чистая, белая, оживленная, — батраки и хозяева. Из той и другой кучки вызванные шли в канцелярию и голосовали. Управляющий экономией охрип: ему приходилось объявлять каждому батраку имена пана, старосты и шинкаря. Жандармы толкались тут же и ухмылялись, словно перед ними шла детская забава.

— Ну, ребята, вот и выбрали пана; садитесь, будем водку пить, — сказал эконом.

Хозяева подняли вой:

— Вот вшивые, вот нищие, вот скоты! . .

— Эй, ребята, слышите, как богатеи скрипят?

— Пускай скрипят, а мы будем горилку пить.

— Пейте огонь, пейте кровь свою, воры! . .

— Горилки давай! . .

— И что это за порядок такой нам паны навели, что голодранцы разбоем на село идут! . .

— А ты, грамотей, думаешь, что я не был в читальне? Да ведь и там бедный народ стоит у порога. Рассядутся за столом ксендз, церковный совет, богатеи; дьяк газеты читает, а вы киваете головами, как волы, будто что понимаете. А сами один к одному такие дурни — хоть глаз выколи! Вот так читальня: богатей за столом, а батрак у порога. И в церкви так, и в канцелярии, везде так. Откуда же нам заодно с вами быть?

— Мужицкая голова не для грамоты, а зад не для кресла!

Батраки загоготали.

— Ну, тише, вы, неумытые, прежде вшей у себя побейте, а потом учите хозяев уму-разуму!

— Эй, Курочка, и ты с этими людьми! Да ты хуже Иуды! Чего горланишь? Не бойся, все твое богатство прахом пойдет. Помнишь, как я у тебя батрачил, как от твоей работы меня хвороба трепала? А ты за целую неделю вынес ли мне хоть кусок хлеба, или воды дал напиться? Вот как ты с людьми обходишься! Я у тебя всю силу оставил, а ты меня босого выгнал на зиму! Вот увидишь, спустят твои дети все богатство, так что и следа от него не останется, басурман!

Курочка хватил Федора по лицу так, что тот упал, обливаясь кровью.

— Хлопцы, а ну, малость помнем богатея! . .

Батраки схватили Курочку, за Курочку встали хозяева, полилась кровь. . .

7

Федор лежал дома в постели. Глаза у него жаром горели от красных язычков, тысячами огней разбегавшихся по телу и сжигавших его в уголь. Эти язычки, как молнии, носились по всем жилам и возвращались в глаза. Грыз кулаки, бился головой о стену, чтобы огонь из глаз ушел.

Горел, чувствовал, что весь пышет пламенем, хватался руками за глаза. Страшный вопль, нечеловеческий крик! Язычки вылетели из тела и прилипли к стеклам оконца. Вскочил. Оконце краснело, как свежая рана, и заливало кровью хату.

— Пускай все мое сгорит! Все, что я оставил на его дворе! — Федор подпрыгивал, плясал, смеялся.

Оконце дребезжало, тряслось, и все больше крови наплывало в хату.

Выбежал за порог.

Звезды падали на землю, лес окаменел, а откуда-то из-под земли вырывались неистовые голоса и тотчас пропадали.

Хаты ожили, дрожали, плавали в зареве.

— Я чужого не хочу, пускай только мое сгорит! . .

1900 г.

ПРЕДВЕСТНИКИ

Это будут старухи, бедные вдовы, или их внуки, или дряхлые деды, — те, что ютятся около своих детей и постоянно чувствуют, какая они обуза в семье, — или это будут молодые женщины с малыми детьми, которых бросили мужья и где-то в большом городе даже

забыли о них. Они пойдут длинной вереницей в поле, мимо крестов, уже не закрытых никакой зеленью, оставят за собой блестящие, гладкие, серые дороги и разбредутся по серому однообразному жнивью, дети будут собирать колосья, а старики — сухие стебли и корневища.

И дед Михайла пойдет со своими внуками: с двумя мальчонками и Оксаной, что постарше их. Мальчики, как жеребятки, то будут обгонять деда, то оставаться далеко позади, а Оксана будет итти все время рядом. Дед будет нести драную, грязную дерюгу и будет покашливать. Оксана понесет в руках хлеб для мальчиков и для себя. Это будет в самый полдень, а дед все будет говорить Оксане:

— Это солнце, сынок, уже с морозцем.

Они будут итти, итти и задержатся на одном из полей. Дед остановится у межи, Оксана пойдет по полю, а ребятки побегут искать норки зверьков, прозрачные роднички, кнутики и ножики, потерянные пастухами.

Оксана будет поднимать каждый колосок, что попадется, будет складывать в левую руку, и, когда наберется много, она положит их на пригорке, чтоб потом легче найти. Будет отыскивать впадины, ямки, там больше попадается колосьев. Сто раз в минуту будет наклоняться, выискивать, как самая усердная работница. Вскоре замелькают у нее перед глазами желтые и синие пятна, или одна половина поля будет такая, как есть, а другая будет зеленая. Она остановится, прикроет ладонью глаза, постоит с минутку, потом быстро отнимет руку — и пелена с глаз спадет. А то запоет песенку, запоет про себя потихонечку, с великим стыдом и светлой радостью, что она уже может петь. Будет выводить ноту за нотой, слово за словом

с дрожащей неуверенностью, как малый ребенок, который делает первые шаги и с радостью ступает чистенькими ножками по земле. А попадется ей колосок, оборвет песню и заново заведет ее дрожащим тоненьким голосом, вроде той паутинки, что дрожит на жнивье. А как подойдет к краю полосы, сядет на полевую дорожку и подопрет голову своим маленьким, похожим на головку будяка, кулачком, а будяк станет тихонько нашептывать ей о ее будущей жизни...

Но дед не будет садиться, а согнется дугой и начнет кашлять.

— И не знаю, что это там внутри не дает мне дышать: вот кабы разрезать грудь да выкинуть оттуда эту негодную кровь, может бы еще малость и пожил...

И опять будет выдергивать сухие корневища, будет сгибаться дугой и кашлять. А во время работы наплывут на него думы и об осени, и о зиме, и о весне. Где-то в мозгу зашевелится такое, что он позабудет и о сухих стеблях, и о кашле.

— Коли есть чем истопить зимой хату, то в тепле меньше есть хочется. Утречком встань, отгреби снег от порога, набери в сарае сухих стеблей, положи в печь — и сразу в хате веселее. Катерина сварит кулеш, ребятишки проснутся, и есть уже для них и ложка горячего борща и теплая печка; и тебе, деду, тепло среди них. Коли нельзя лучше, то и так хорошо. Стеблина, когда она сухая, больно хороша...

И он будет вырывать их дальше еще с большим усердием и силой. А мысли понесутся одна за другой, и он не станет отгонять их. «Не умереть бы мне только, пока мальчонки подрастут, и для нее было б счастьем: я бы их всех распихал по людям, чтоб работали сами на себя, а то глупая баба — что она понимает, только

слезы лить! Я-то направил бы их на верный путь лучше нее. . .»

Вот он позовет ребят. Они подбегут к нему с выдолбленной тыквой.

— Эй, ребятки, а вы почему не помогаете Оксане? Есть-то захотите? Ступайте, малость около нее поиграйте, а то ей скучно.

Ребята пойдут к Оксане, а дед опять будет перебирать свои думы. «Ребята здоровые, рослые, только бы дождаться! Меньшой-то, ох, хитер, что твой старик. Зимой выпрашивает сапоги, а то, мол, на печи ему плохо. Сколько смеху с ним, что, не доведи господь, если б умер, осиротели бы мы. . .»

Он поглядит на солнце, низко ли оно спустилось, и на стебли, много ли их насбирал. Потом кликнет Оксану помогать ему сносить стебли и обколачивать с них глину. Они сложат их в одну кучу и начнут оббивать палками. Столб пыли поднимется над ними, дед будет кашлять, Оксана жмуриться, а ребята будут уписывать хлеб. Солнце будет уже на закате. Из окрестных сел приплывут на поле звуки колоколов и будут стелиться по жнивью вместе с росой, по дорогам заблеют овцы, станут перекликаться пастухи, на полях пахари будут вытаскивать плуги из борозды и собираться домой. Из низин поднимется седой туман, вороны стаями потянутся к садам в село, а собаки побегут домой, они не смогут уже ловить перепелок в поле.

Дед Михайло будет креститься, стряхивать пыль с рубахи и надрываться от кашля. Потом уложит полную дерюгу стеблей, внуки помогут ему взвалить ее на плечи, и выйдут на дорогу. Оксана понесет свои снопики колосьев, а ребята будут подбирать стебли, что выпали из дерюги, и совать их за пазуху. Пока дойдут

до дому, пазухи их оттопырятся, и животы будут чернехоньки от пыли.

Все они встретятся в селе, и бедные вдовы, и их внуки, и старики, и молодые жены, брошенные мужьями, — все с вязанками стеблей и со снопиками колосьев.

Они предвещают, что наступает осень.

1900 г.

МАЙ

Данило ждал около белых ворот, смотрел на господский парк, как вор, и не решался войти.

— Разве я знаю, можно ли сюда войти, а вдруг как выбежит кто и даст в морду. Откуда мне знать, что не даст?

В господском парке были чистенькие прямые дорожки, и только по ним он мог попасть во двор, но он боялся, что за это его побьют. И ждал у ворот.

Все мужики, их много миллионов, умеют ждать долго и терпеливо. Когда пан в канцелярии, то они ждут стоя. Как бы много их ни было, они не подадут ни малейшего признака жизни. Стоят тихонько и постепенно тупеют, а выражение с их лица сползает куда-то на плечи, под рубаху. В этом стоячем сне они находятся в оцепенении, безгранично равнодушные, а чиновник среди них похож на черную муху, попавшую в густой мед. Стоящему ближе других к столу чиновника хуже всех: он не может всецело погрузиться в сон. Он поминутно выпяливает глаза и беспокойно оглядывается. За ним продирают глаза и оглядываются его соседи, и беспокойство стоящего впереди передается до последнего, который прислонился к печке.

Тот, передний, как ветер на ниве, беспокоит все колоски от дороги до самой межи.

Если пана нет в канцелярии, они садятся. Хорошо для них этак хоть полчасика отдохнуть, хорошо, если хоть рука или нога отдохнет. Сгрудятся и сядут, как попало. Только шапки держат осторожно, чтоб не помять. Когда же угнездятся поудобнее, то начинают шопотом переговариваться:

— Эх, вот бы трубочку малость покурить?

— Бросьте!

— А табак у вас покупной?

— У меня самосад.

— Тише вы, а то еще кто услышит... и...

Все суют руки за пазуху и запихивают свой табак чуть не за спину, а то как бы беды не нажить! Шопот стихает, лица застывают, на губы наплывает слюна, и головы склоняются вниз. А случись среди них какой-нибудь нетерпеливый, так он, как и тот передний, никому не даст спокойно посидеть на полу. То у него рука занемеет, то какая-то беда кольнет его в самый хребет так, что он не выдержит и пошевельнется. За ним зашевелятся соседи, и общая гармония взаимной поддержки пропадет, и снова начинается укладывание рук и ног, пока опять какая-нибудь беда ее не нарушит.

— И до чего ж нетерпеливые люди, не дай бог! — скажет какой-нибудь более сдержанный и сразу опять закроет глаза.

Вот так все они ожидают. Так ждал и Данило у ворот, хоть был один-одинешенек. На него нападала сонливость, безразличие, и мысли его путались в голове. Когда он шел к пану, у него был очень ясный план. Увидев его, он должен был снять шапку с головы и итти к нему навстречу, как аист на лугу, — осторожно,

медленно, чтоб и камушка панского не задеть. Когда совсем приблизится, должен вытаращить глаза на пана и смотреть так, чтоб пан подумал: «Это, должно быть, очень бедный человек!» Потом подойти к руке, поцеловать ее с обеих сторон, прикоснуться лбом к ладони и малость податься назад. Опустить плечи, бросить шапку сзади себя на землю, обтереть рукавом губы и сказать:

— Я пришел к пану наниматься. Трудно дотянуть до нового урожая, детей у меня четверо, а земли всего-навсего маленький клочок огорода. Должен наниматься, а уж работу всякую знаю, потому как человек я рабочий. И прошу божеской и вашей панской милости, чтоб нам договориться и чтоб пан дал мне вперед меру зерна для жены и детей, а на работу я могу встать хоть сейчас.

Первым словом пана будет:

— Ты, видно, вор?

— Я, пан, еще чужой былинки не тронул.

— Чего врешь, лодырь, виданное ли дело, чтоб мужик не крал? Разве ты не мужик?

— Известно, простой мужик, но чужого не люблю брать.

— Так, верно, ты пьяница?

— Я с горилкой не знаюсь: не на что!

— Врешь, как пес, да ты бы умер без горилки!

— Без горилки не умер бы, а вот без хлеба можно!

— Что-то ты очень мудрено мне отвечаешь, видно, был в тюрьме и там тебя разуму научили.

— Да сохрани меня бог! Я полжизни прожил и отродясь под арестом не был.

— А зачем же ты столько детей наплодил?

— Это, ваша милость, бог посылает детей.

— Это тебя поп так научил?

— Я с попом тоже не знаюсь, это денег стоит, я и в церковь-то не хожу, — не в чем.

— Так ты радикал [1], и не даешь попу с себя шкуру драть.

— Если б и хотел что попу дать, то не дам, — нет ничего, а он кабы и хотел что содрать, так не сдерет, потому как нечего содрать. Так мы и не знаемся. . .

Он наперед знал, что пан должен человека смешать с грязью, вдосталь поиздеваться над ним, и только потом примет его на работу. И шел, уверенный в себе, но у ворот растерялся. Усадьба эта была в другом селе, и он не знал, откуда войти в нее. Усадьба к тому же стояла среди поля, и некого было спросить. И Данило ждал. Ясный план его расплывался, он почесывал затылок и робко заглядывал за ограду.

— Они по этим дорожкам ходят на прогулку, вот и посыпали песком.

Глаза его долго блуждали и задержались, наконец, на павлине, хвост которого переливался всеми цветами.

— За этот хвост можно бы получить копеечку, если бы этак забежать и обеими руками вцепиться в него. . . Неизвестно, можно ли есть его мясо?

Он разглядывал усадьбу.

— Вот у этого земли вдосталь и обрабатывает ее хорошо. Но куда он все это девает?

Мысли его разлетались.

— Весна так хороша, так хороша и с каждым днем все краше!

Дальше он уже ни за чем не наблюдал. Сидел, как пень, и чувствовал, что вот-вот уснет. Чтоб не поддаться

---

[1] Радикал — член крестьянской партии в Галиции.

сну, он таращил глаза, тер рукой лицо и был похож на незадачливого борца, который вот-вот сдастся на милость или гнев врага. Вскоре он привалился боком к ограде у ворот и, видно, хотел так устроиться, чтоб и спать и ждать. Потом вытянулся совсем и сомкнул глаза. Не прошло и минуты, как что-то ему шепнуло:

— Спи, спи под панскими воротами, вот кучер так огреет тебя батогом, что кровь брызнет!

Он вскочил, как подстреленный, испуганно оглянулся вокруг и застыл. Постоял секунду, махнул рукой и пошел от ворот в поле. Забрался в траву и улегся поудобнее спать. И привиделся ему пан, и его руки, и белые дорожки. Пан будто приказал ему надеть на голову шапку, но он не посмел.

— Я, ваша милость, бедный человек, я не могу перед паном в шапке стоять, потому как я бедный, такой бедный человек. . .

Сладкий сон нагонял эти видения, и он спокойно спал.

Солнце смеялось над ним, осыпало его своими лучами и ласкало его, как родная мать. Цветы целовали его черные нечесаные волосы, кузнечики прыгали через него. Он спал спокойно, а черные ноги и черные руки, казалось, были приделаны к его загорелому телу.

1900 г.

ПОХОРОНЫ

Впереди оборванный мальчик в беленьком воротничке. В руках держит черный крест и все время смотрит на него. За ним четверо таких же мальчиков несут гроб. Он весь синий, а на крышке его беленький, то-

ненький крестик. В головах гроба прибит веночек из грязновато-желтых цветов. Из тех цветов, что растут среди камней на мощеных дворах. Веночек похож на калачик[1] бедного мужика, который он подает в церкви за спасение души.

За гробом плетутся несколько женщин. Глядя на них, не узнаешь, которая молодая, которая старая. В их руках маленькие погасшие свечки и полузавядшие цветы в горшочках. Это те чахлые цветы, что никогда не видели вдосталь солнца, и все с одной стороны грязновато-зеленые, а с другой — ярко-желтые.

Под ногами мокрые камни. Неподвижная густая изморось висит в воздухе.

Одна женщина плачет, а другая говорит ей:

— Когда был здоров, то целыми днями играл около моей будки. Ковырялся, бывало, в канавке, промытой капелью с крыши, и вытаскивал разные камешки. Ну, как цыпленочек без квочки, скажу вам, как цыпленочек. И не вру, правду говорю, каждый день я покупала черствую булочку и звала его к будке. Он садился около меня и ел. А как он красиво ел! Ручонки такие маленькие, а он ими щиплет такие малюсенькие крошечки — и в ротик, в ротик. Да зачтет господь мне эти булочки, что я ему давала...

Женщина, не унимаясь, плачет.

— Осень, осень его доконала, сырой воздух и стужа. Вас-то целый день не было дома, а его резало без вас и зарезало. А я приходила к нему и свеженькие булочки приносила, но он уже не ел. То и дело водицы ему нужно было подать. Лежал, как рыбка, и

---

[1] Калачик — род просфирки.

все ротик раскрывал. Потом посинел и весь жаром пылал! Будто кто-то под ним огонь развел, а косточки его подбросил, как поленца, чтоб горели...

Идут все измученные, поблекшие, рассекая крестом серую изморось.

— А он, видно, умер от той кушетки, на которой лежал. Откуда вы ее достали? Ей-богу, как могила из рваных мешков. На такой кушетке и здоровый умрет. Я боялась бы этой кушетки, если б одна с ней осталась. Сбежала бы или изрубила, а в доме не оставила!

— Это кушетка его отца, он на ней родился, это — наследство. Когда переезжал с первого этажа, нам ее оставил.

— А где ж он теперь?

— Не знаю...

Маленькая процессия свернула в другую улицу. Черный крест покрылся сизыми капельками, мальчики закоченели, а женщины еле волочили ноги.

Идут среди улицы, как рваные тени, чужие, неведомые никому.

Кладбище близко, только его не видно сквозь серую изморось.

1900 г.

СОН

Спал крепко.

Лес шумел, стонал; тонкий звук срывался с веточек и падал вместе с мерзлым инеем, словно падали маленькие колокольчики.

Ветер завывал, как выгнанная собака.

Небо чистое, застывшее, а месяц на нем такой ясный, как на рождество.

Третильник[1] спал крепко. Головой откинулся на свою кучу кукурузы, а ногами на две панские. Черные волосы поседели от инея, рыжий сардак побелел, сильные руки не чувствовали холода, а лицо, обожженное ветром, стало кирпичного цвета.

Разговаривал во сне, и с каждым словом изо рта его вырывался сноп белого пара. Голос его ветром относило в лес, и он эхом долго отдавался от дерева к дереву.

— Не трожь; это заработано; у кого берешь — нашел тоже богатея...

Поднял кулак, но он бессильно опустился на сухие стебли кукурузы.

— Я могу работать, у меня дюжие руки, что конские копыта... Ахну раз — и дух вон!..

— Землю целуй, где б ты ни ступил: твоя ли она, чужая ль, она тебя кормит, своя родит и чужая родит... Что правда, то правда! Земля — она всё, если только твоя. Она тебя и согреет, и оденет, и прокормит, и в почет введет...

Закашлял, как в большую трубу затрубил.

— А нет у тебя своего поля, так некуда тебе и податься. Ох... Нет, нет, нет...

Положил кулак под голову.

— Долго я горе мыкал по чужим полям. Но господь мне помог, дай бог каждому так. На, говорит, тебе клочок земли, да не выпускай из рук, держи ее... Зубами держи ее, люби, как жену, что тебе по душе пришлась...

Шапка свалилась с головы, и ветер понес ее.

— Эй, Панас, скинь шапку, ты ж в первый раз по этой весне в поле вышел — так издавна ведется...

---

[1] Третильник — батрак, работающий за третий сноп.

Коли бог даст, будет пшеница. Калачей напечем и дадим тем, у кого не из чего испечь... Дадим, дадим; как нам бог дает, так и мы дадим...

Раскинулся крестом.

— Межа — и та хочет родить колос, межа та же земля, она еще лучше... Я тебе после смерти все оставлю... Глянь, словно скатерть, ровная, только черная. Я тебе этой скатертью в поле стол накрою, а ты будешь есть и бога благодарить, что у тебя был такой отец...

— Весна красна, гляди не оплошай, паши землю. Волов напои да возвращайся засветло: коли скотина не ухожена, так это грех больше, чем...

Проснулся, еще слыша спросонья свое последнее слово. Глянул на небо, поднял шапку, погладил ладонью голую грудь, перекрестился.

— Что за лютая стужа, прямо с осени? Того и гляди снегом занесет... На дворе зима, а мне такая хорошая весна приснилась... Эй, Яков! Обдирай кукурузу, разве можно так долго спать...

1900 г.

ОЗИМЬ

По селу растекается, плывет тоненькими струйками, рассыпаясь на мельчайшие капельки, один голос: осенний, сельский звук. Он охватывает и село, и поле, и небо, и солнце. Протяжная, унылая песня переливается по вспаханным полям, шелестит увядшими травами на межах, прячется за черными плетнями и вместе с листьями падает на землю. Все село поет, белые хаты робко улыбаются, окна пьют солнце.

На одном из огородов зеленеет заплатка озимой ржи, а возле нее на тулупе лежит дед, белый, как молоко. Глубокий старик с померкшими глазами. Возле тулупа — его палочка, тоже очень древняя, ручка ее до блеска вытерта ладонью. Солнце светит деду прямо в лицо, словно он один у солнца на земле.

Старик так заслушался осенней песней, что и сам запел тоненьким, как у ребенка, голоском. Заговорил, а орех роняет на него свои широкие листья. Белые мотыльки кружатся над дедом, стараясь сесть на его белые волосы. А он и говорит, и поет, а соседские петухи слушают и подтягивают за ним.

Старик укоряет свою смерть.

— Ты мне не нужно, — пищит он солнцу, — не скаль на меня зубы попусту. Мне теперь нужна яма да четыре доски. Понапрасну трудишься; ты найди себе молодого, а мне пришли ее, а то забыла, сука, деда...

Хорош косарь, нечего сказать! Колос созрел, к земле клонится, целует ее, почернел уж, а косарь ждет! Чего? Думаешь, еще плясать пойду?! Я свое отжил, я доволен, с меня хватит. Забирай последние остатки моего духа и отпусти из-за стола... с меня хватит.

А может, где война, вот она там и рыщет, там гибнет такое молодое, что только целуй. А тут что она найдет — пустую коробку. Ты не лезь к молодым, а бери то, что тебе по зубам. Молодой пускай хозяйством правит, пускай детей уму-разуму учит, он от тебя не уйдет, хоть он и на войне, ты его не трожь! Сгребай в яму то, что для ямы...

Глянь, руки, — подносит руку близко к глазам, — с чем тут жить? Такая старая шкура, что не залатаешь и прошлогоднего постола. Что такой рукой можно сделать? Постой, не дрожи, когда с тобой

говорю. А мясо где? Я, что ль, его съел? Не я. А коли мясо по вкусу пришлось, лакомься и косточками. Доедай, не надо было начинать...

Раз у меня есть руки, так я иду своей дорогой, а моя дорога, гляди, сотнями дорожек разбегается по полю. Я картошечку выкопаю, я кукурузку выращу, я бороздку лицом к солнцу поверну, я зернышко посею, — с руками-то я все сделаю! А без рук я — дурень, коли хочешь знать! Это не диво свести человека на-нет, а потом сбежать сломя голову! Нет, ваша милость, взваливай-ка на плечи и тащи, где мне лежать положено.

На озими появляются куры и начинают клевать.

— Киш-киш! А то изрублю в капусту! Ты не гляди, что я старик, такого зверя я еще осилю, я еще осилю! Иль на дворе вам клевать нечего?

Встает и, опираясь на палку, идет на озимь.

— Такие зеленя, а они портят... Земля всегда молода, она — как девка: в праздник — нарядится по-праздничному, в будни — по-будничному уберется, а все девует, — и так испокон веков.

Садится посреди зеленой озими, опирается на палку и молчит. Он молчит, а село вокруг него уныло поет. И вербы роняют на него пожелтевшие листья...

1900 г.

ЧУДНОЙ ПАНОК

Этот маленький панок живет в маленьком городишке, где много мелких торговцев и только один винный погребок. И стоит этот окостеневший городишко среди сел, как вонючая падаль, как свалка всего уезда. В базарные дни он оживает, пестрит при-

ехавшими из сел и веселится. На базаре стоит балаган; в нем играют какие-то страшные музыканты, с его полотен страшные звери ощеривают зубы, и какая-то восковая девушка гремит в звенящие тарелки. А перед балаганом в пестрых нарядах стоит сельский люд и смотрит. Вся толпа вперилась глазами в деревянного шута, который выскакивает из крыши балагана и, размахивая руками, зазывает всех на представление. Смех, шум, хохот до слез.

Из балагана выходит деревянная девушка и обнимается с шутом. И смеха этого на рынке столько, что у всех уши закладывает, что чиновники в канцеляриях вскакивают с кресел. Весь смех из сел разносится эхом по базару. Старые мужики тянут сыновей и их молодух за плечи, чтобы итти за покупками, а те и не помышляют оставлять забаву. Только под вечер народ расползается и оставляет пустой грязный базар, зевающий на город, как огромная конюшня.

Вот в этом-то городишке и живет маленький панок. Он на пенсии, ни детей, ни жены у него нет. Сам седой, в серой шапке и в серой одежде. Весь день он сидит в погребке и молчит. Когда другие паны пытаются заговорить с ним, он начинает потягивать из кружки пиво, а после забывает даже и ответить им. Самый главный гость — пан староста — и тот не может к нему подступиться. Целый день панок молчит в погребке и поджидает мужиков. Иной раз пошлет кто-нибудь крестьянку в панский погребок за таким вином, что облегчает сердце, или за крепким виноградным сахаром, от которого смягчает в груди, а она остановится перед погребком и не решается войти. Тогда наш панок выбегает и говорит:

— Почему ж вы не входите? Боитесь? Входите и говорите, что вам надо, и я вам помогу.

— Да я, простите, как-то не осмелюсь войти туда, где паны.

— Глупости, ты хозяйка и за свои деньги имеешь право войти.

Баба входит, а панок старается услужить ей, словно она пришла к нему в гости. Она хочет поцеловать всем панам руки и всего боится.

— Не целуй, не лижи панам руки, ты ж — хозяйка, ты — больше хозяйка, чем эти паны: у тебя есть своя земля.

Баба стоит и с удивлением смотрит на панка.

— Говори, что тебе надо, посмелее, пора уж украинским крестьянам понимать свое достоинство. Ты панам руки не целуй, они твоим трудом кормятся, они твои слуги.

Паны хохочут, баба совсем робеет, а панок сердито, очень сердито смотрит на панов. Потом укладывает ее покупку и провожает из погребка. А выйдя из погребка, наказывает ей, чтоб она никогда руки панам не целовала, чтоб за разум взялась и уважала себя, потому что паны — воры и разбойники. Баба смеется, благодарит его за внимание и уходит. А панок возвращается в погребок и, глядя свысока на панов, насвистывает так весело, что лицо его молодеет и глаза проясняются.

— Вы подбиваете мужиков бунтовать, я прикажу арестовать вас, — говорит, смеясь, староста.

Панок, потягивая пиво, даже не глядит в ту сторону.

— И кто бы мог ожидать, что пан Ситник станет этаким анархистом?

Панок молчит.

— Раньше рука об руку шел с нами, шутил, в карты играл, а на старости лет показал-таки свою русскую душу, москаль-москалем [1].

Паны хохочут, шутят, а у Ситника глаза кровью наливаются.

— А если я больше не хочу быть таким кровопийцей, как вы, и в полдень затыкать окна подушками, чтоб спать; мне не долго осталось жить, так я хочу хоть немного перед богом очиститься.

— В баню, пан Ситник, в баню за двадцать копеек, ха-ха-ха!

— Будет вам баня когда-нибудь, ох, будет баня!

— Что ж, если взбунтуете народ, возьмете косу, и мужики за вами, то, может, и получится баня, но вы уж не так злы.

Панок засуетился; в погребок вошли двое мужиков и остановились у порога.

— А вам что угодно, хозяева? Не стойте, как воры, вы ж сами себе паны.

— Просим прощенья, — нам бы выпить по стаканчику вина, — говорят, тут хорошее, пользительное для желудка, а то шинкари всякую дрянь дают...

— Пойдемте со мной в соседнюю горницу, там сядете, закажете себе, как людям полагается... — говорит пан Ситник.

— Зачем, пан, мы и тут постоим, нам садиться некогда...

— Видите, какой вы темный народ, вон немец — тоже мужик, а посмотрите на него, когда он придет сюда. Важно прет, садится — и все тут!

Панок показывает, как немец идет, как усаживается.

---

[1] Москаль — оскорбительное слово, которым польские паны в Галиции называли украинцев.

Паны хохочут, мужики стоят ни в тех, ни в сех. Они опустили головы и не знают, как им быть.

— Идите, не будьте скотом, сейчас же идите. Вы боитесь вот этих панов? Да это ж — ваши наймиты, вы их кормите, одеваете, а вы им в ноги кланяетесь!

Мужики краснеют, потеют со стыда и идут за паном. Садятся в другой горнице за стол и молчат. Он звонит.

— Подайте нам литр вина.

— Пожалуйста, пейте, не озирайтесь так, словно вы попали к разбойникам. Я — ваш человек, я из вашей кости и крови. . .

— Пошли вам бог здоровья, пан.

— Паны забрали меня к себе, я им служил, я позабыл о вас, я с ними в карты играл. . .

— У панов свои забавы, у мужиков опять же свои, — всяк по-своему.

— Нет, это не так, теперь по-иному, — если ты украинец, так не гнушайся своего народа, а если ты не держишься с ним, то ты — последний мерзавец, босяк и разбойник, понимаете?

— Это правда, что каждый должен своей веры держаться.

— Вот, вот! Но я не был таким смолоду! У меня была одна картина в доме, где-то я ее купил и повесил, портрет одного украинского митрополита. Раз как-то мне говорит один пан: «Я приду к тебе с визитом». — «Пожалуйста, очень прошу!» — говорю, а сам спешу домой, снимаю тот портрет со стены да под кровать. Ко мне часто приходили паны, и каждый раз я этот портрет прятал.

— Оно, конечно, пан, человеку боязно, как бы не провиниться, как бы кокардочку не сняли, а то паны не любят нашего брата, мужика-украинца. . .

— Знаете, я этот портрет снимал со стены и снова вешал, пожалуй, лет двадцать. И, наконец, мне его стало жаль. Гляжу я на него, а он, вроде, как бы сердится на меня. Нет, не сердится, а будто плачет на стене. Мне казалось, когда меня нет дома, он громко плачет на всю комнату.

— А неужто может быть такое, чтоб картина плакала?

— Вы меня не понимаете, мне так казалось, что она плачет, и я не раз подкрадывался под свои окна и подслушивал этот плач. Однажды я возвращался из клуба домой в полночь. Подхожу к окнам, прислушиваюсь: плачет. Слушаю напряженней: плачет... Мне стало страшно, не знаю, входить ли в дом, или возвращаться? Стою, стою, трясет всего, боюсь. Наконец отважился...

— Полночь оно, пан, самая опасная пора, нечисть в самую силу тогда входит.

— Но вы не понимаете, это меня совесть тянула, так донимала, что мне даже голос почудился. Вхожу я в хату, еле на ногах держусь, ничего не слышно. Зажег свечку, а на портрет боюсь глянуть. Ложусь и непременно хочу на него взглянуть, но нехватает мужества... Глянул, а он весь заплаканный. Меня в жар, меня в дрожь бросило, зуб на зуб не попадает...

— Вестимо, страшно, пан, в самую полночь одному быть с такой картиной!

— Хворал я тогда долго, думал, конец пришел. Позвал я к себе украинского священника, рассказал ему, готовлюсь к смерти... Но бог меня помиловал. После болезни я сразу уволился со службы, ушел на пенсию и дал себе слово, что никогда не буду гнушаться своих людей, буду жить среди них и защищать их. Больной я, недолго уже мне помогать вам, но, пока

еще я ползаю, буду ходить среди вас, как грешник, и молить вас, не отталкивайте меня...

— Спасибо вам, пан, что так хорошо с нами побеседовали, вот побольше бы таких панов. Пошли вам, боже, счастливой старости...

— Нет, это я вас должен благодарить, я ходил по вашему горю, как по мягкой подушке, и не осознавал этого...

Панок расплакался, а мужики смотрели на него и говорили:

— Успокойтесь, пан, не сокрушайтесь мы на вас не гневаемся, нам что до того, как паны живут, у них свое право, а у нас свое.

— Вы меня не понимаете! Ну, как вы не понимаете, что я хочу, чтоб вы людьми были...

— Но мы, пан, по возможности стараемся понять вас, на то вы и ученый, чтоб нам дорогу показать.

— Так, так, дорогу надо знать...

. . . . . .

— Должно быть, добрый этот панок.

— Только малость пьянчуга, но человек добрый.

— Есть такие паны, напьются и плачут, как мужики...

— Есть, есть и среди них такие мягкие люди, — говорили двое мужиков, идучи домой.

1900 г.

СУД

1

Ковалюк поднял орчик вверх и обратился к музыкантам:

— Играйте, как положено, как должно быть, эта свадьба прославится на всю Украину — и в Коломые и

в Станиславе... Этому уж не понадобится свадьба, но есть еще двое таких, что погуляют.

Он показал на Федька Мельника, который лежал с размозженной головой на снегу. Возле него сидела его жена, держала в руках новую шапку и спрашивала:

— Что ж ты наказываешь нам делать, что ж детям завещаешь?

И еще что-то ему говорила, словно на тот свет передавала.

А Дмитро Золотой ходил перед воротами с обломком толстой оглобли и говорил толпе людей на улице:

— Что б ни один не смел вступить сюда, а то сразу от этой оглобли заснет, — это я вам говорю!

— Кого бьют?

— Богачей.

— А кто бьет?

— Свадьба.

— А Федька уже убили?

— Он по ту сторону.

— Ему-то смерть, а кому тюрьма?

На селе тревожно зазвучал набат.

— Сейчас все село сбежится и не даст бить.

— Нет, даст, даст, будут вот тут стоймя стоять, как вы, — ответил Золотой.

В дверях сеней поднялась новая драка. Михайло Печенюк уперся ногами и руками в косяки, и ни Петрик Синица, ни оба Золотых, Иван и Калинник, не могли вытащить его во двор.

— Вы голытьба — голодные, а я сильный, да я каждый день мясо ем, а вы — похлебку незабеленную!

— Будешь теперь сыру землю грызть!

Из сеней вырывался плач женщин, как отзвук побоища.

— Не говори с ними так, Михайло, не говори, не говори, а упрашивай их! — кричала жена.

— Перестань, дура-баба, тут не до просьбы, тут смерть.

А пока они так пререкались, Петрик Синица схватил зубами Михайла за палец и сразу вытянул его во двор.

— Ну, теперь Михайле аминь!

— Михайлиха, садитесь на голову, голова — главное...

— Ты, советчик! Эх, и посоветую я тебе вот этой дубиной!

— Кровь из него хлещет, как из борова, да такая красная, здоровая...

— Гляди, крестится... Бьют, не дают даже молитву прочитать.

— Крышка ему, Михайлиха дает свечку, но незажженную.

— Что ж из того, что сильный, одно месиво осталось — и конец.

— А жена и не плачет, измаялась вся.

Из сеней выбежала толпа женщин, среди них Касьян. Золотые и Синица бросились за ним.

— Не спрячешься, богатей, в бабьих юбках!

Женщины толпой окружили Касьяна.

— Не давайте, не давайте меня!

— Касьянка боится, а его больше всех надо проучить! Он промеж богатеев самый лютый.

— Боится, не то, что Михайло, тот не боялся.

— Смотрите, смотрите, как бабы плюют на Золотых!

— Схватили Петрика, и все навалились на него!

— Не дадут...

— А вы чего оттуда вмешиваетесь? Вы мастера

только жен да шинкарей бить, а как дойдет до правды, так вы в сторону и скулите, как щенки.

Это сказала народу одна из баб, что обороняла Касьяна.

— А вы, староста, чего не идете порядок наводить? Глядите, бабы за вас порядок наводят.

— Умны вы больно! Иди, староста, и подыхай из-за того, что лодыри промеж себя сговорились богатеев бить!

Совсем рассвело. Хаты на белом снегу стояли, точно стая черных больших птиц. Лес спокойно шумел. Набат все еще бил тревогу.

Из толпы женщин вышла жена Ивана Золотого. Взяла окровавленного мужа за рукав и сказала:

— Муженек, посмотри на людей, на село, на лес и опомнись! Что ж ты натворил? Это ж люди, не скотина.

За ней вышла и жена Калинника.

— А ты, несчастный, ступай теперь прямо в острог, домой не являйся, а то я с детьми уйду. И не приходи!

Музыканты перестали играть, а Ковалюк все еще стоял с орчиком и не знал, что с ним делать. Солнце выкатило половину золотого ока.

Трое братьев Золотых побросали дубинки и мотыги и пошли в лес. Ковалюк заплакал, а Петрик Синица пошел в хату, но упал на пороге и забился с пеной у рта. Толпа двинулась и начала поднимать убитых.

2

В хате Онуфрия Мельника все село собралось судить убийц. Богатеи не имели права участвовать в суде: судили только бедные. Онуфрий назначил и суд,

и прокурора, и защитника. Сам сидел за столом и говорил:

— Село отравлено, люди друг друга боятся, в церкви по воскресеньям только и разговоров, что о бедных. По селу шныряют жандармы, звенят колокольчики приезжающих комиссий. Разрывают могилы, режут, вскрывают, а нам, беднякам, неоткуда ждать ни помощи, ни доброго совета. Так мы сами судим их и, если услышим, что они виновны, то и покараем их.

Так говорил Онуфрий, обращаясь ко всем беднякам. Они собрались почти со всего села. Заполнили хату, печь, кровать, сени и весь двор.

— А если придет староста и захочет разогнать, так вы не пускайте, а если силой полезет, так дайте ему по морде, и пускай убирается! А теперь объявите нам, господин прокурор, обвинительный акт.

Со скамьи поднялся Яков Дидык и начал:

— Иван Зуб — человек, знаете, бедный, справлял свадьбу своей дочки. Знаете, как у бедного, он всегда рад, когда к нему придет богач, тогда вроде и образа ярче засияют, и есть кому под ними сесть. Ну, сошлись к нему одни бедняки, а Зуб упросил к себе еще и троих богатеев: Федька Мельника, Михайла Печенюка и Касьяна Крапивку. «Здравствуйте, дай вам бог здоровья, и спасибо, что вы переступили порог моей хаты, наша свадьба будет веселее», — говорит так Зуб и увивается, а бедняки жмутся у порога и слушают. «Пожалуйста, будьте добры, берите, кушайте!» — и все богатеям. А богатеи, ваша милость, все пьют и пьют, а бедных все дальше и дальше от стола к кровати осаживают. А Зуб и забыл о бедняках, только богатеев и ублажает. Это первый пункт. Ну, Петрик Синица и говорит:

— Эй, Зуб, ты, старик, видно, забыл, что у тебя, кроме этих троих, есть и другие гости!

А Зуб уже подвыпивши был и говорит:

— Синичка, ты не указывай мне в моей хате. Как я хочу, так тому и быть.

— Ой, не быть тому, я пришел на свадьбу, как и прочие, и принес такие же дары, как и все, так и мне должна быть такая же честь, как и другим.

Говорит это Синица, а бедные навострили уши, и эти слова им так по душе пришлись, ну, слаще меда. В ту пору на этом и кончилось. Начали подавать обед. Перед богатеями все сало да мясо, а перед бедняками все кулеш из кукурузной муки и малость мясца. Ворчат бедняки, едят нехотя. А богатеи аж локти себе засалили. Тогда Иван Золотой взял со стола богатеев бутылку с горилкой и говорит:

— Выпьем, братцы, хоть горилочки, коли есть не дают.

— Послушай, Золотой, а перед тобой что стоит, нешто не дар божий? — спрашивает Зуб.

— Но почему ж перед богатеями этого дара божьего столько, а перед нами всего ничего?

А богатеи только багровеют да поглядывают, но молчат.

Кончился ужин. Музыканты заиграли. Танцуют. Начал Печенюк танцовать с Касьянихой да так всех и расталкивает. Не стерпел тут Петрик Синица да хвать по лицу Михайла, а Михайло, не долго думая, да Петрика.

— Эй! Перестаньте играть! — кричит Зуб.

А Касьян Крапивка говорит Зубу:

— Знаете что, Зуб, вот вам пятьдесят левов, оплачу всю вашу свадьбу, но вы весь этот мусор выметайте вон из хаты. Это второй пункт.

Дошло до того, что кому-нибудь смерти не миновать. Эх, господи! Как Калинник Золотой ахнет Касьяну по морде, так полная миска крови и натекла. А Михайло так ухватил Калинника за шкуру на загривке, что вырвал клок волос, только голое мясо осталось.

— А ну, богатеи, либо сейчас убирайтесь вон отсюда, либо от вас только клочья полетят!

Надо бы им послушаться. А тут началась схватка. Все, кто потрусливее, убежали, остались только трое богатеев и пятеро бедных да бабы. Бабы все остались, они знают, что в драке их никто не тронет. Перво-наперво вывели Федька Мельника. Вывели его Ковалюк, Петрик и Иван. Ковалюк только раз огрел его орчиком по голове, череп — хрусь — и раскололся, а Федько так и уснул на месте, как цыплок.

Но с Михайлом Печенюком не так-то легко было справиться. Мужик здоровенный, как медведь, и, сами знаете, не из трусливых. С ним часа три маялись в хате: их четверо, а он один. Правда, бабы тоже помогали, но что могут сделать бабы. Свалили его в хате, — разбросал всех четырех мужиков, как галушки, свалили в сенях, — опять не дался. Приволокли к дверям, а он уперся в косяки. Тогда Петрик Синица ухватил его зубами за палец и вытащил, а как вытащил, так и прикончили кольями.

Убивали Петрик, Калинник и Иван. Хотели убить еще Касьяна, но он уж больно баб просил, так те спрятали его под подолами, а тут настало утро, и люди опомнились.

Значит, убили: Иван, Калинник и Дмитро Золотые, Петрик Синица и Никифор Ковалюк.

— Это прокурор огласил обвинение, а теперь послушаем обвиняемых, — сказал Онуфрий.

— Иван Золотой!

— Тут!

— Ты виновен в убийстве Михайла и Федька Мельника?

— Нет, не виновен.

— А кто ж виновен?

— Не мы виновны, а богатеи.

— Почему богатеи?

— А потому виновны, что хотели выгнать нас со свадьбы.

— Хотели, но вы не поддались, а их загнали на тот свет.

— А кто вам дал право меня спрашивать?

— Иванка, молчи, гадина, не юли, а то сейчас тебе достанется. Отвечай: ты убил?

Тут Онуфрию стал помогать народ:

— Ты, Золотой, говори все по правде, а не то сейчас отведаешь дубины, — говорили из сеней мужики.

— Я, ей-богу, только раз ударил!

— Чем?

— Мотыгой.

— По чему?

— По плечам.

— Ну, а Калинник?

— Я не знаю.

— Коль не знаешь, так садись.

— Калинник Золотой!

— Я тут!

— Ты убил Михайлу?

— Его убило его богатство.

— Только не мудри, Калинник.

— Какая тут мудрость. Я был пьяный, была свадьба, играла музыка, а богатеи хотели нас выгнать, так мы решили поколотить их.

— Хорошо, поколотили; но кто убил?

— Я не помню.

— Память что-то коротка.

— Ты чем бил?

— Да чем попало.

Онуфрий уже ничего не говорил, только рукой махнул в сторону парней. Парни схватили Калинника.

— Дайте ему пятнадцать палок, так заговорит.

И допрос продолжался.

Народ хотел немедля покарать, но Онуфрий не позволял и допрашивал следующих обвиняемых. Но когда обвиняемые не хотели сознаваться перед Онуфрием, те, что стояли в сенях, кричали: «Они убили, пускай искупают вину!»

И вытаскивали одного за другим и передавали в руки стоявших сзади. А те руки — их было много — хватали их, карали, — и рев шел по селу, оставляя за собой страшный вопль женщин и замирающие волны гнева.

1901—1902 г.

ДЕТСКОЕ ГОРЕ

— Василек, возьми Настю и отведи к дяде; вон той стежкой, что у леса, ты знаешь. Да легонько держи за ручку, не дергай, она маленькая; а на руки не бери, тебе еще не под силу.

Хотела сесть, но согнулась от нестерпимой боли — легла.

— Разве я знаю, куда ее вести ночью? Вы умирайте, а мы побудем около вас, а утром пойдем.

— Видишь, Настя, пуля свистнула и убила маму, а виновата ты; чего ревела, когда солдат хотел обнять маму? Мешало это тебе? Убегали мы, а пуля свист-

нула... А теперь у тебя не будет уже мамы, пойдешь внаймы...

Не говорят уже — померли. Я тебя мог бы здорово отколотить, но ты теперь сирота. Ну, куда ты годишься? Когда умерла наша соседка Иваниха, ее девки все голосили: «мамка, мамка, где нам вас искать и откуда дожидать?» А ты не умеешь, а я мальчик, и мне не годится голосить...

Гляди, войско пускает свет с того берега, чисто воду из сита, блеснет и сразу видит, где солдат, и трахнет в него пулей, а тот сразу и упадет, как мама. Скорей ложись около мамы, а то сейчас пули полетят. Слышишь, как свистят...

А вон, видишь, за Днестром солдаты огненные пули подкидывают, запускают высоко-высоко, а пуля горит-горит, а потом гаснет. Играют ими, ой, как их много!..

Гляди, пушка: гу, гу, гу; только она в людей не стреляет, вот в церковь, или в хату, или в школу.

Ты никогда пушки не бойся. Пуля в ней такая большущая, как я, а колеса, как у мельницы. Да ты ничего не знаешь, ты еще и ходить-то еле-еле умеешь. А вот я умею брыкаться, что конь...

Прячься за маму, вон опять пускают огонь, только белый, белый, как кисея; сейчас на нас наведут. Гляди, какие мы белые, а пули опять свищут. Ага, вот как в меня попадет пуля, то я лягу около мамы и умру, а ты одна к дяде дорогу не найдешь. Лучше уж тебя пускай пуля убьет, я-то один доберусь к нему и скажу, а дядя вас обоих похоронит.

Ну, заревела, разве от пули больно? Только свистнет, просверлит дырку в груди, а душа в эту дырку и выскочит — и прощай. Это тебе не дома: когда хвораешь, то еще водкой натирают.

«Есть хочу»... слава богу! А что я тебе дам есть, когда мамы нет. Пускай мама дадут! Так скажи маме, ну, скажи! Что, отвечают мама? Возьми, возьми за руку, а рука упадет. Что, не говорил? Глупая девка, из мамы душа вышла. А это, она, душа, и говорит, и хлеб дает, и колотит.

Настя, ей-богу, отколочу тебя. Что я тебе дам есть? Ты гляди на войну, вон какая она красивая, а утром пойдем к дяде и будем борщ есть... Постой-ка, кажись, у мамы есть хлеб за пазухой... Молчи, у мамы есть хлеб, на, ешь, вот прожорливая девчонка!..

Опять пускают кисею, видишь, белую, как снег. Идет на нас, вот! Настя, ты что? Ой-ой, весь рот в крови и руки? Пуля тебя застрелила? Ой, бедненькая Настунька, ложись скорей около мамы... ничего не поделаешь...

Да нет, это тебя не пуля убила, это хлеб намок в крови у мамы за пазухой. Вот дрянная девчонка, все жрет, как свинья; гляди, вся вымазалась, и руки в крови... Как я поведу тебя утром в село такую измазанную? Ну, погоди, я пойду с тобой мимо ручья и вымою тебя в такой студеной воде, что не своим голосом заревешь, а я еще отколочу тебя.

Наелась, ну так ложись возле мамы, а я около тебя; ты посередке, гляди волк тебя и не съест, спи, а я еще погляжу на войну, а ты грейся около меня...

А может, пуля уже и отца убила на войне, а может, до утра еще и меня убьет, и Настю, и тогда уж никого, никого не останется...

Уснул.

До самого рассвета светящееся белое покрывало дрожало над ними и понемногу отходило за Днестр.

1916 г.

НЯНЬКА

Сидит маленькая нянька Парася и держит в подоле ребенка; вокруг нее такие же няньки, девчатки и мальчуганы.

Группа выглядит так, будто потрясли дерево и большие яблоки по земле раскатились. . .

Парася предлагает поиграть в похороны и всем голосить.

— Зачем в похороны? Зачем голосить?

— А я вам скажу зачем: я слышала, как мой папаня ночью наказывали, чтоб этого маленького не было в хате, это ведь не наш ребенок, а гусара прохожего. Вот папаня и говорят маме: «Ты его хоть убей, хоть закопай, а мне он не нужен». А мама говорят: «Как же я закопаю живого ребенка?» — «Так ты вперед убей, а потом закопай». Вот я чуть свет и вышла с маленьким, ждала вас, а вы все спали, а то папаня кричит: «Убирайся с этим приблудышем».

Маленький Максим, который очень интересовался всеми гусарами, уложил своего ребенка на землю и стал обстоятельно разглядывать гусарского ребенка.

— Да это такое же дите, как и все. . . Твой папаня какой-то дурной.

— А как твой отец думает задушить этого ребенка?

— Подумаешь, как трудно такого маленького задушить. Задушит — и похоронят.

— Вот твоя мама будет голосить, ай-ай!

— Давайте голосить! Только одни девчата. Ребята молчите, вам нельзя голосить.

Девочки причитают, подражая бабам, и по выгону плывет похоронный напев.

Бабка Дмитриха кричит из ворот:

— Вы что это, девки? Одурели со своим голошеньем? Грешно голосить, когда нет покойника!

— Бабушка, этот гусарский ребенок умрет, его задушат, и нам не грех голосить.

Бабка крестится, дети продолжают причитать.

1921 г.

ЗЕМЛЯ

Посвящаю памяти своего отца.

Семен воротился домой с заходом солнца и застал во дворе у себя пять кованых возов, набитых всяким добром, даже люлька наверху была. Кони у возов были хорошие. А на завалинке сидели старые и молодые, всё незнакомые. Семен, старый, босой, с башмаками через плечо, сказал:

— Славайсу Христу, люди добрые! Откуда будете и как мне вас звать?

— Мы буковинские, война выгнала нас из дому; я — Данило, а эта старуха около меня — жена моя Мария; а это две мои невестки с детьми, и дочка тоже с детьми; хотим у вас переночевать, если примете.

— Ночуйте, будьте гостями. Сяду я рядком да побеседую с вами, а жена сварит нам ужин. Она у меня вторая, молодая, расторопная, когда захочет.

— А у меня эта — первая, уже пятьдесят лет, как за мной, да вот свихнулась, и похороню я ее где-нибудь на перекрестке. Разум свой потеряла под колесами. Пока еще с воза видела наше село, все плакала и с

воза убегала, невестки ее догоняли, а как село скрылось из глаз, просто онемела. Сидит вот тут немая среди внучат...

— Не удивляйтесь, дядюшка Данило! Оставила она свои слова на окнах и на золотых образах в своей хате, вот они, как пташечки, и мечутся по пустой хате, как сироты. Молитвы щебечут по углам, а старая без них немая будет... Пойдите-ка вы в большую хату и перед святым Николою прочитайте ей молитву, может народится у нее слово.

Старики вдвоем привели бабку к образам и громко прочитали молитву. Но бабка молчала.

— Потеряла она свои слова около своих святых, там ей и искать их.

Снова на завалинке.

— Не мое это дело, но зачем вы, скажите, на кованых возах и вороных конях, с молодыми детьми свою землю покинули?

— Дядюшка Семен, я на возы кованые с вороными конями посадил своих детей, чтобы не отдать их врагу на поругание. Когда попа с попадьей заковали и увезли в горы, когда учителя забрали ночью бог весть куда, а войта повесили среди села и поставили жовнира [1], чтобы кто-нибудь не похоронил, — вот тогда я отрекся от земли и кровных своих посадил на кованые возы, чтобы их никто не опоганил. Кара божья пала на нас за грехи всего света. И от тяжкой десницы господа милосердного я попробовал кровь свою, детей своих, увезти в мир крещеный.

— Ужинать зовут, Данило, а вы бога не гневите своим неразумным роптаньем.

---

[1] Жовнир — солдат *(польск.)*.

* * *

— Ешьте, ешьте! Летите вы, как птахи, неведомо куда. А мы с вами, Данило, отведаем этой горькой, может старые наши плечи от земли кверху поднимутся.

Ужинать никому не хотелось, только оба деда потягивали водку, но тоже еды в рот не брали.

— Идите-ка вы, дети, спать со своими детьми, дай вам бог светлые сны увидеть, а мы, старики, еще посидим.

— Данило, если вы не разгневаетесь, я кое-что скажу вам.

— Я и разум и гнев свой оставил у себя на дворе, можете меня и побить, ведь я уже стар, и нет у меня своего гнезда.

— Не дело старой птице бросать старое гнездо: новое-то ей построить не по силам. Ведь лучше ей голову свою в старом гнезде сложить, чем в канаве при чужой дороге.

— Верно, Семен, верно, спасибо вам за это слово.

— Ну куда вы собрались? За господами вслед? У цесаря для них казна открыта, а для вас казна заперта. Там чужой язык, высокие холодные стены, и судьба раскидает вас по камням, и только во сне вы увидите нашу милую землю, закостенелыми руками в беспамятстве будете сеять насмех праздным панам яровую пшеницу по камню. Бог не примет вас к себе с того камня, но он выйдет к вам за ворота, если вас убьют на вашей земле. Вернитесь на свою мягонькую землю, и там вас бог благословит даже на виселице...

— Грешен я, Семен, грешен перед господом и перед вами. Ведь у меня нивы — как овцы, хорошо откормленные, черные и кудрявые. Сейчас же поверну возы обратно, чтобы господа не гневить...

— Наше дело — земля, упустишь ее и пропадешь, держишься за нее, и она всю силу из тебя заберет, пригоршнями вычерпает твою душу; ты в усердии гнешься над ней, она из тебя все жилы вытянет, но зато у тебя стада и отары, у тебя стога. Она за твою силу дает тебе полную хату и детей и внуков, а они заливаются серебряными колокольчиками и цветут, как калина. Не ходи, Данило, с панами, не ищи царя, ведь тебе царь не нужен, всегда какой-нибудь придет к мужику, чтобы подати брать.

— Дай вам бог всего лучшего, Семен, за ваше слово. Я ворочусь домой, и пусть сбудется воля божья.

Тут и старая Мария заговорила:

— Едем, Данило, домой, едем!

— Вот сучья баба, как вышло по ее — сразу заговорила!

— Ну, теперь выпьем! Будьте здоровы! Дай бог нам лихую годину перебыть, а как помрем — пусть наши кости сгниют в нашей земле.

И пили оба деда, и старуха с ними, и пели. Баба сидела посередине, крепко обнимая обоих, и выводила песню:

Лишень моя мила,
Як голубка сива,
Вона спати не лягає!
Дитину колише,
Дрібне листя пише,
З буйним вітром розмовляє...

Так они и пропели до зари, а с рассветом кованые возы затарахтели: Данило возвращался домой.

Солнце уже всходило, когда два деда прощались, целовали друг другу руки, а красное солнце далеко по земле, через межи, раскинуло их тени.

1922 г.

СЫНОВЬЯ

На молодых крепких конях дед Максим бороновал яровую пшеницу. Бороны летали по земле, как перышки. Максим сбросил шапку на борозду, рубаха расстегнулась и сползла на плечи. Туча пыли из-под бороны запорошила седые волосы на его голове и груди. Он кричал, злобился, а люди на соседних полосах говорили про себя:

— Старый пес, а лютый, но молодых коней еще крепко держит; богатырь, сызмальства хорошо вскормлен, а с той поры как потерял обоих своих сыновей, все орет и на поле, и в селе.

Максим сдержал коней.

— Старые кости, как старая верба: на топливо хороши, а за конями бегать невмочь. Раз ноги подгибаются возле коней и в танцах сдают, про такие ноги лучше и не говорить, чего они стоят. Полезай, дед, на печь, пришла твоя пора.

Он встряхнул седой головой под черной гривой коня и снова кричал:

— На печь, брат, я еще смогу влезть, но печь нетоплена, облуплена. Образа на стенах почернели, а святые глядят на пустую хату, как голодные псы. Старуха всю свою жизнь убирала их барвинком да васильками, и голубков перед ними золотила, чтоб милостивы были, чтоб в хате светло было, чтоб дети росли. И много этих святых, только все они ни к чему. Сынов нет, старуху похоронил, а вы, боги, уж не обессудьте: не до барвинков, — надо было самим позаботливей быть... А ну, Звездочолый, пока богом нам назначено, давай, брат, обрабатывать эту землю.

И ходили они с одного конца поля на другой, окутанные облаком пыли, а бороны грызли землю, грохотали, разрыхляли ее, чтоб приготовить зерну мягкое ложе.

— Эй, Босак, ты не конь, ты пес, все плечи мне обгрыз, живого места не оставил. Не дергай хоть ты меня, и так меня жизнь издергала, еле на ногах держусь. Я, сам ничего не евши, еще до рассвета тебе овса задал, я тебя чешу, я тебя старыми слезами поливаю, а ты кусаешься. Гляди, вон Звездочолый, он у меня, как человек, он черными глазами за мной водит: он меня жалеет, он своей гривой утирает дедовы слезы, а ты поганец бессердечный. Намедни ты у меня целый клок волос вырвал и бросил под ноги в навоз. Так делать не гоже. Ты хоть и добрый конь, но зато поганец. Продать тебя я не могу, но явись ко мне Георгий Победоносец, то, ей-богу, подарил бы тебя, чтоб шел ты с ним змия убивать, а землю обрабатывать ты не годишься, уж больно ретив.

И, послюнявив пальцы, старик протер на плече рану и присыпал ее пылью.

— Гей, кони, тронули!

Бороны шли ровнее, земля подавалась, рассыпалась, ноги Максима чуяли под собой мягкость, ту мягкость, которая так редко гостит в душе мужика: земля дает ему эту мягкость, и за это он так ее любит. И когда Максим бросал горсть зерна, то приговаривал: «Колыбельку я вам постелил мягонькую, растите до неба».

Максим успокоился, не кричал уже и резко осадил коней.

— Да какого чорта ты все ноешь, старая кривуля, хрустишь в каждом суставе?

Оглянувшись, он увидел вдоль борозды длинную нитку красной крови и сел.

— На стекло напоролся, мат-тери твоей!.. Вот и боронуй теперь поле, необработанным не оставишь, разве что на куски тебя разорвет. А ты, несчастное поле, много ль пользы от этой старой крови получишь. Старая кровь, что старый навоз, ничего не родит; мне вред, а тебе никакой пользы.

Прихрамывая, он выпряг коней, отвел к возу и положил им сена.

— Ты, солнце, не хмурься на старого, что так рано полдничает; старому не на чем ходить...

Он достал из мешка хлеб, сало, бутылку и промыл рану водкой, потом оторвал кусок рукава, обмотал ногу и завязал веревкой от мешка.

— Теперь хоть боли, хоть переставай, как хочешь, а бороновать все одно будешь.

Выпил водки, кусал сухой хлеб и опять зло ворчал:

— И это хлеб? Да им только паршивого коня чистить, а на хорошем-то — шкуру сдерешь. Таскаются ко мне целым роем эти потаскушки: «Дед, говорят, мы вам и печь будем, и стирать будем, откажите нам землицы малость». Эти суки облезлые думают, что я про них землю берег? Как помру, пускай на моем поле цветы растут и своими маленькими головками за деда молятся.

Со злостью швырнул хлеб на дальнюю борозду.

— Не по зубам деду эти жмыхи. Выпьем, Максимка, горилочки, она гладко идет...

— Эй ты, молчи, не верещи над моей головой; кому нанялся петь? Вот этому ободранному и искусанному деду? Лети к своему богу в небо да скажи ему, чтоб он не посылал мне глупую птаху с пением, а коли уж он такой всесильный, пускай пошлет мне моих сынов. А то по его воле я остался один, как перст, на всей

земле. Пускай твой бог меня песенками не улещает. Пошла прочь!

И бросил комок земли в жаворонка, а жаворонок еще звонче запел над его головой и вовсе не собирался лететь к богу.

— Ты, пташка, ничего, ровно ничего не понимаешь. Вот когда мой Иван еще мальчонкой гонялся за тобой, чтоб поймать, и искал твое гнездышко в межах, да играл на сопелке, тогда ты, пташка, разумно делала, что пела, тогда надо было петь. Твоя песня и голос сопелки Ивана стелились низом, а над вами солнце, и все вы несли тогда глас божий и надо мной, и над блестящими плугами, и над всем радостным миром. А сквозь солнце бог, словно сквозь золотое сито, обсыпал нас сияньем — и вся земля, и все люди светились золотом. Вот так солнце, как в большом корыте, замешивало весну на земле...

А из того корыта мы брали калачи, а калачи лежали перед музыкантами, а молодые влюблялись и в цветах шли под венец, и катилась весна, как море, как потоп; вот тогда, пташка, твое пение вливалось в мое сердце, как звонкая струя воды в новый жбан.

Лети, пташка, в те края, где еще калачей не отняли, а детей не порезали.

Охватив руками седую голову, склонился к земле.

— Стыдись ты, седая голова, стыдись, что причитаешь и приговариваешь, как плаксивая баба, ничто уж тебе не поможет на этом свете.

Эх, сыны мои, сыны мои, где вы сложили свои головушки? Не только землю, душу бы я свою продал, и окровавленными ногами дошел бы до вашей могилы. Господи, врут те золотые книги в церквах, что у тебя был сын, врут, что он был! Ты, говорят, своего воскре-

сил, но я тебя не прошу: «Воскреси моих», я тебя прошу: покажи хоть могилки, дай мне лечь рядом с ними. Ты видишь весь мир, а над могилами моих сынов ты ослеп. . .

Да разорвало б твой синий небосвод, как разрывается мое сердце! . .

Да придите хоть которая-нибудь. . . к старику. . . Неужто вы их не обнимали, моих сынов, и не ложились в белую постель? Да они ж были, как дубы, кудрявые. . . Да принеси на руках своего крапивыша, не стыдись, приходи. Дед тебе все коврики под ноги подстелет, а крапивышку все тончайшее полотно изрежет на пеленочки. Ведь ты ходишь невенчанная да плачешь от позора.

И дед, воздев руки к небу, взывал ко всему свету:

— Приди, невестушка, приди к отцу, нам попа не надо!

Громко зарыдав, припал к земле и землей, как платком, утирал слезы, почернел весь и молил еще:

— Или приходи хоть ты, возлюбленная, без ребеночка, и на твоей шее я узрю следы его рук, а на губах алый цвет его губ, а в твоих глазах, как в глубоком колодце, я выловлю его очи и спрячу их в своем сердце, как в коробочке. Я, как пес, учую запах его кудрей на твоих ладонях. . . Возлюбленная, приди и спаси старика!

Ты еще живешь на свете, а их нет ни единого. Так найдите вы дорогу ко мне и принесите весточку. Окропите студеной росой мои седые волосы, а то каждый из них жжет, как раскаленная проволока. Голова моя вся горит от этого огня.

И рвал на себе седые волосы и бросал на черную землю.

— Седые волосы, жгите землю, нет у меня больше сил вас носить.

Совсем обессилев, приник к земле и долго лежал молча, а потом ласково рассказывал:

— Последний раз пришел Андрий; он был у меня ученый. «Отец, говорит, теперь едем воевать за Украину». — «За какую Украину?» А он поднял шашкой ком земли и говорит: «Вот она, Украина, а тут, — и указал шашкой на грудь, — вот тут ее кровь, землю нашу идем от ворога отнимать. Дайте мне, говорит, белую рубаху, дайте чистой воды, чтоб умыться, а там будьте здоровы!» Как блеснула его шашка, так и ослепила меня. «Сынку, говорю, есть у меня еще меньшой, Иван, бери и его на это дело; он крепкий, пускай лучше я вас обоих схороню в этой нашей земле, только б лютый ворог не посягнул на нее». — «Хорошо, отец, пойдем оба». А как услыхала это моя старуха, то я сразу увидел, что смерть обвила ее, словно белым покрывалом. Я подался к порогу и как будто услыхал, что глаза ее выпали и покатились, как мертвые камни, по земле. Так мне почудилось, но свет уже навсегда угас в ее глазах. . .

Ранним утром оба они уходили, а мать, опершись на ворота, молчала, но смотрела каким-то далеким взглядом, как с неба. А когда я их сажал на чугунку, то сказал им: «Андрий, Иван, не отступайте, а обо мне помните, что я один-одинешенек, ваша мать у ворот умерла. . .»

До самого вечера водил Максим коней по полю и уже не кричал, совсем умолк. Дети, что гнали овец, люди, что, гремя плугами, проезжали мимо него, со страха даже не здоровались с ним. Весь в грязи, оборванный, хромой, он словно проваливался в землю.

* * *

Поздним вечером Максим обошел коров и лошадей, подоил овец и вошел в хату.

— Ты, бедняжка, совсем примолкла, застыла, будто тебя кто ножом пырнул, не можешь и слова сказать... Но я в тебе разгребу еще малость огня...

Он сварил похлебку. Убрался в белую рубаху, поужинал и притих. Потом припал к земле и молился:

— Ты, матерь божья, будь хозяйкой в моей хате; ты со своим сыном будешь посредине, а по бокам тебя Андрий и Иван... Ты отдала одного сына, а я двоих!

1922 г.

ВОЕННЫЕ УБЫТКИ

Седой комиссар въезжал в село на подводе, которую обязаны были давать крестьяне по требованию властей, и удивлялся, что село еще чистое и хатки выбелены.

«Этим мужикам, — думал он, — и чорт ничего не сделает, а не то что война; жрут, как свиньи, и хлещут румынскую водку. Любопытно, придут ли и сколько дадут заработать. Я-то умею их пощипать...»

Максим Онищук еще от своей хаты приметил комиссара и сразу юркнул за угол.

— И откуда эта Польша столько чиновников набрала! Возим, возим и перевозить не можем. Лучше спрячусь, а жена пускай скажет, что я на мельнице. Мне уже боком выходит возить эту саранчу.

Старик Куфлюк вышел за ворота, он был безлошадный, и бояться ему было нечего.

— Ишь, откормленный, как боров! Теперь все богатеи поудирают в лес, чтоб подводы не давать.

Старуха Варвара сказала: «Славайсу» и прошептала:

— Гляди, какая старая развалина, этот не будет таскаться по ночам с полицейским и хватать молодиц за подол...

Приходский священник, как жеребенок, побежал в хату, чтоб не попасть комиссару на глаза.

— Ой, жена, опять нечистый принес какого-то чиновника в село, приберите в комнате и готовьте хороший обед.

— Уж у этих поляков и аппетит хорош...

Учитель, низко кланяясь комиссару, сказал: «Падам до нуг», он не боялся, что комиссар заедет к нему в гости.

. . . . . .

Возле сельской канцелярии староста с выборными поджидали комиссара. Староста говорил:

— Люди добрые, нет сил моих больше, старуха из хаты гонит, а дети кричат, как на пса. Нет покоя ни днем, ни ночью. Давай им есть, давай водку; ищи с ними в селе бунтовщиков, ищи оружие, ищи листовки из Вены, рой землю, ищи измену Польше. Целую зиму двери не закрываются, даже на печи старуха замерзает. Поищите себе другого старосту, нет моих сил тащить эту ношу. Вон, видите, уже едет, паралик его расшиби!

— Староста, а где народ? Я приказывал вам, чтоб все сошлись у канцелярии.

— Я через десятских передал людям, чтоб пришли, может еще соберутся.

— Мужик всегда дурак; как отдавать, так он хватает книжку из-за балки, прячет за пазуху и днями

дожидается, чтоб скорей подать заплатить; а как получать деньги, так мужик на печи. Эх, чорт вас побери, мне ж меньше работы будет, а жалованье все то же.

— Прошу пана, мы уже столько наполучали, что донести не можем...

— Не возражаю, хозяин, что во времена владычества Австрии было так, но у нас будет иначе.

— Дай бог!..

— Староста, идите вы первый записывать военные убытки; кто не придет, пускай пеняет на себя.

. . . . . .

— Как зовут?

— Михайло Вахнюк.

— Сколько моргов земли?

— Какие там морги, дети поразбирали.

— А сколько вы обрабатываете?

— Может, десять, может, побольше, а может, и меньше.

— Пишем двенадцать.

— Столько не будет.

— Так пишем одиннадцать.

— Ну, пускай так...

— Убытки от войны есть?

— Какие там убытки, будто их кто-то вернет мне, зря писать и говорить...

— Вы не понимаете этого, начальник. Из Вены и Будапешта заберем все золото и этим золотом заплатим все военные убытки.

— Бог бы глаголил вашими устами...

— Теперь мы ваши, а вы наши.

— О, это еще неведомо, как будет.

— Польша будет, а вы, если у вас есть ум, наберите золота у мадьяр, у немцев, у москалей и живите

в добром согласии под польским господством, а своих бунтовщиков гоните из села. Ну, начальник, какие убытки?

— Да пару коней и телегу еще в самом начале войны забрали австрияки, кони с телегой — тысяча крон. А потом солдаты взяли корову и телку, — за обоих считаю восемьсот крон.

— Еще что?

— Еще мадьяры закололи двух кабанов, ценою в триста крон.

— Еще что?

— Да разве можно все упомнить, и зачем вспоминать лихое, коли оно прошло.

— Нет, все запишите, мы за все заплатим.

— Брали и подушки, и дерюжки, и все сало отняли, и сани, и дрова из-под хаты; где мне все вспомнить!

— Вот видите, ваши убытки вместе, пан Вахнюк, составляют две тысячи шестьсот золотых крон, а обменять на марки, так их хватит вам до самой смерти.

— Эх, пан, бог будет те кроны считать, а марок мне не надо.

— Так подарите мне ваши убытки, а я вам сейчас тысячу крон дам.

— Зачем же мне дарить панам, которые побогаче меня.

. . . . . .

Выборные так же неохотно записывали убытки, а собравшийся народ прикидывал уже золотые кроны старосты на марки, и не один пожалел, что у него нет никаких военных убытков. А когда Кальман целый час диктовал свои убытки, не пропуская ни единой мелочи, то мужики зашумели:

— Вишь, паршивец, насчитал целых три тысячи зо-

лотых крон, а хромой Дмитро все добро его у себя сохранял, теперь гляди, сколько деньжищ огребет.

— Я в Карпатах два месяца ел сырую картошку, загубил лошадей и телегу, еле домой добрался, полгода хворый лежал, а вроде мне и получать-то не за что...

Пока говорили, остальные разбежались по селу сзывать свояков и соседей, чтоб те не потеряли золотых крон. В течение часа все село собралось на выгоне. Комиссар обратился к ним:

— Вижу, люди, что ваше село умное, и все убытки ваши запишу, но пойду поесть, а то проголодался.

И вместе со старостой и выборными пошли к Кальману, долго закусывали там и вышли красные, точно раки. Выборный Корч уже знал, что комиссару нужно румынской водки, масла, кур и яиц. А за то, что он оповестил народ о том, в чем нуждался комиссар, он получит возмещение за все военные убытки не позже как через месяц. И пока комиссар писал в канцелярии, бабы натащили в чулан полицейского много всякого добра, а мужики, пряча в рукавах, приносили бутылки с румынской водкой. Полицейский и Корч вскоре тоже покраснели, так же как и их родня. Весь выгон зашевелился, повеселел и возбужденно беседовал до глубокой полночи, пока комиссар составлял списки военных убытков. Выборный Корч был того мнения, что кур и яиц для комиссара собрано слишком много, а особенно много водки.

В полночь мужики окружили комиссара, как пчелы матку, и провожали его на ужин к Кальману. На заре посадили комиссара на крестьянскую подводу, обложили курами, яйцами, водкой и, пожелав ему и возчику Миколаю счастливого пути, вернулись веселые домой.

У Кальмана остался только пьяный Свиц, который орал до утра...

А когда Миколай на своих добрых конях проезжал через лес, на него и комиссара напали парни, захватили все дары да к тому ж еще и взгрели. Стегнули батогами коней, и только у города комиссар и Миколай пришли в себя и стали вытирать кровь с лица: Миколай рукавом, а комиссар платочком.

— Вот хамы деморализованные, вот быдло! Они воображают, что получат возмещение за военные убытки? чорта с два!

Так и вышло.

1925 г.

MORITURI

Еще до восхода солнца по воскресеньям и праздникам они приходили к цырюльнику Тимке побриться и чубы подстричь. Приносили из дома кто хлеба, кто сала, кто иной снеди, но денег — никогда. Мало уже осталось в селе таких завсегдатаев Тимки: одни умерли, другие пропали на войне. Но эти за три десятка лет привыкли вот так встречаться и не бросали своей привычки.

* * *

— Хоть бы не курили вы этого табачища-то, ведь я подыхаю от него, да не ржите, словно кони, оглушили совсем!

— Сиди, Настя, тихо, ты и так уже давно глухая.

— Как же не оглохнуть в такой мельнице, посовестились бы, старичье!

— Не слушайте вы ее. Завела музыку на беззубом гребешке, — сказал Тимка.

— Ну и хозяин у меня, поглядите, развалина! Да еще хриплый и слюнтяй...

— Вот замолола языком, что жернов...

— Тьфу, чтоб тебя, старого!

— Ей все хочется, как бывало, чтобы ее по мягкому похлопывали, только не взыщи, голубка, мягкого уже давно нет.

— И ты в воскресенье такое говоришь, окаянный! Да тебе не сегодня-завтра на тот свет собираться...

— Уж лучше на тот свет, чем с такими старыми бабами возиться.

Хохот, смех. Настя кашляет.

* * *

— Тимка, возьми-ка, брат, клещи да зуб вытащи, а то я всю ночь прямо на стенку лез.

— Который зуб?

— Вот, погляди.

Василь разинул рот и показал полный ряд белых зубов.

— Что за чорт у тебя с зубами? ... Зубы такие, что железо перекусишь.

— Мочи моей нету.

— Нет, друг, я до обедни не стану тащить. Как хочешь, а терпи, пока служба не отойдет, я не стану сейчас кровь пускать.

— Э-э, не мало уже ты нашей крови до обедни выпустил, пока брил.

— Это ненароком, а тут дело иное.

— Вась, ты попробуй горилкой.

— Детишки все село исходили, нету.

— Нешти румунешти? [1]

— Да я хоть сейчас найду, на самом краю села.

— Сколько нас тут?

Подсчитали.

— Литровку купишь, и хватит.

Все искали деньги, неторопливо, словно недовольные, а сами рады были позабавиться.

* * *

— Разводите мыло, кому бриться, а кому стричься — садитесь, солнце уже встает.

— Тимка, ты бы табачную лавку, что ли, завел, с бумажкой, ведь кто из твоих рук выйдет, тому целую книжечку приходится налепить, а то кровью изойдет.

— Это у тебя, Никола, такая жесткая борода, легче бы мне дикую свинью обрить да в церковь пустить, чем тебя.

— Никак на тебя не угодишь: Юрка попрекаешь, что волос у него мягкий.

— Ну и у него тоже негодный волос, прямо как у девки подмышкой... А у меня уж рука дрожит, не знаю, как я всех побрею, вдруг кто-нибудь из вас богу душу отдаст и придется его на лавку положить.

Солнце уже взошло. Гости Тимки сидели облепленные бумажками и ждали водки. Микита, наконец, пришел с бутылкой, и, пока он не побрился, на столе стояла водка и нарезанный хлеб с чесноком.

---

[1] Нешти румунешти — нет ли румынки (водки) *(румынск.)*.

* * *

— Выпьем, братцы, наша жизнь коротка! Пей, не жалей!

— Кабы нам кто этой постылой подносил, мы бы еще топали помаленьку. Старосту мы уже не ставим, правление не выбираем, послов [1] не посылаем.

— Все перешло в читальню, там теперь правят.

— Тоже, правление: девки парнями наряжаются, парни девками, обнимаются без стыда и совести, свадьбы справляют да берут деньги за билеты.

— Такие у них теперь забавы, а разум у них есть, не бойся! Молодые, свет повидали, Польши ни-ни, не хотят, а панские земли хотят поделить.

— Ей-богу, хорошо, ничего не скажешь, теперь эту Польшу никто не в силах выдержать: и имущественный, и подоходный, и земельный, и собачий, и с навоза... и за все, что на свете есть!

— Эх, если бы избавиться! .. Ну, дай тебе бог здоровья, Настя, да не кричи на нас, мы ведь, голубка, уже и так расходимся.

— Чего уж тут говорить, дай боже и вам здоровья, только головы не распалите, а то вон некоторые на троицу: люди в церковь идут, село зеленью убрано, а они лежат, как дубье под любистком...

— Тогда деньжата водились, где оно это времечко?

Долго еще беседовали, и Василю на больной зуб две рюмочки оставили.

— Ну, идите, идите по домам, а то когда теперь вас жены в церковь соберут и когда я вымету эти волосы — гривы белых коней...

---

[1] Послами в Галиции назывались члены австрийского парламента.

Они выходили из хаты с загорелыми лицами; солнце их долгие годы палило, оно и теперь тотчас присосалось к ним, и несли они его по своим домам.

— Ну, беда будет, — сказал Никола Максиму.

— Какая там беда, а на ребятишек ты: цыц!

— На ребят-то цыкну, а старуха? Ждет, поди, глаза проглядела, чтобы меня причесать.

— Сам причешись.

— Так она и дала... Уж больно любит в волосах поохотиться, тут же унюхает, что горилку пил. И заведет: «Совести у тебя, старик, нету, ни солнышка, ни людей не стыдишься».

— Ну спрячься где-нибудь в риге.

— Все равно пропадать, она меня с гребешком до завтра проищет, а найдет...

1925 г.

ДЕД ГРИЦЬ

Я поехал навестить моего старого друга Гриця. Он давно оглох, и разговаривать с ним было очень трудно. В руках он держал зеленую веточку, а около него на траве сидел его маленький внучек.

— В добрый час вы приехали; я совсем переродился, только не знаю, в детство ль впаду, или стыдом покрою свою седую голову. Стала слышна мне та музыка, которую играли, когда моя старуха замуж за меня выходила, такие громкие звуки появились в ушах, а доныне были как оловом залиты. Мученье быть глухим, слова вянут на языке, а жена только посмеивается надо мной и пищит, как сойка, в самые уши: «Ага, прошло то времечко, когда митинги слушал и сам выступал?» Не раз я в тоске по человеческому слову готов был

дать замуровать себя. Горестно, когда живое еще тело обрастает корой и становится, как бревно.

Приходится замкнуться в своей душе, как в разрушенной хате, где все разбито и исковеркано. Откуда-то, как из холодного тумана, как из мокрого пепла, вытаскивать остатки своих разбитых сокровищ и от сажи вытирать руки. Родные дети словно чужие, я даже забыл, что они были маленькими.

Очень давно это было. Много нас, мужиков, собралось в городе с Черемоша, с Прута, с Днестра, когда мы привезли ребят в школу. На городском базаре все они присмирели, как рыбка, разбросанная по дороге; одолевает их желание убежать на зеленое поле. Матери сидят на возах, плачут и потихоньку проклинают наших наставников; мы, отцы, радуемся: «До тех пор, говорим, будем дураками, будем спину гнуть на панов, пока детей не выучим, а там и панов погоним». А туда дальше, когда дети в школах подросли, то мы, самые крепкие мужики, так и гудели около них, как пчелы около цветов. Но тоска, после того как я, словно замурованный цементом, оглох и будто попал в глубокий подвал, эта тоска сделала меня таким, что я стал забывать все радости моей жизни. А когда я, несколько дней тому назад, почуял в себе новую силу, то, господи, видно, все солнце, какое я носил на себе три поколения, воскресло во мне, все пшеницы, что я выкосил, еще не вымолочены. Теперь я — богач, еще покормлю всю Украину. Все морозы, что веками жили подо мной, теперь ставят меня на ноги. Словно я опять иду к детям, моя старуха напихала в торбу всякой всячины: и того им, и этого, не жалеет меня, навьючивает, как лошадь. А я через бури и метели иду счастливый, веселый: впереди дети, а позади белая хата.

Ну, как они там? Здоровы, растут, учатся?

Отдыхаю по дороге, как дуб, крепко пустивший корни в землю, а ветки под небесами — в школе. Теперь я ожил и стал сильный, еще похожу по своей дороге, потому что грудь моя полна добра и нежной любви.

. . . . . .

— Эх, а когда все они окончили школу, — эти наши дети, и присоединились к нам, а мы окружили их купно, где уж тут, ваша милость, жандармам справиться. Движемся за детьми тысячами, сильные и мудрые, а впереди нас свои. Встает Иван Франко, с челом ясным, как солнце, спокойно учит нас, — а ему все ведомо. Вразумляет, что если каждый из нас посидит в тюрьме за мужицкое дело, то уж никогда ничего не будет бояться. . . А Павлик, задыхаясь, высоким голосом, горячо, взволнованно, рассказывает о нашей нужде, а сзади у дверей Трильовский в лентах, словно девушка, звучно кричит, угрожает, а за это молодежь еще больше льнет к нему. Одним словом: в городах земля гудела под нами, и не один панский род бежал из своего гнезда.

. . . . . .

— А когда Франко с молодежью приехал ко мне ночевать, то жена, хоть и очень не любила всяких сборищ, но не пилила меня в каморке: видела, что наша грамотная молодежь была счастлива около него и сияла, словно он каждому из них надел золотой венок на голову. А я оперся о ясень в саду и говорю: «Господи, ты радуешь мир божий этими звездами, а нас, бедных мужиков, радуешь Франком». Буду за него я молиться тебе каждый день».

А в хате я ему сказал: «Мне, неграмотному, ваши думы, и старые и новые, одну за другой сыны читают.

Только б господь дал вам силы, чтоб вы отыскали все думы народные, что в земле зарыты, в старых монастырях, и то, что паны замуровали в своих дворцах. Да вспоминайте и о нас, хоть немножко». На другой день я вез его на чугунку и встретил какого-то пана, который мчался на лошадях, как на крылатых змеях, но я с дороги не свернул и шапки не снял. Эх, ты, горепомещик, вот я человека везу, не тебе чета!..

. . . . . .

— Мы росли, наши дети множились, все едины духом, но война многих положила в сыру землю...

Внуки пошли, а я еще и внучку проводил, чтоб в госпиталях ходила за ранеными. И никто из них не вернулся. Старуха разума лишилась, поедом ела меня, проклинала: «Таскался, говорит, ты всю жизнь по всяким сборищам и детям завещал, да и пустил их в омут головой». А дети словно и ничего не говорят, избегают говорить о том, что я кости их детей разбросал по всему свету.

Я уже решил было итти за внуками, но поляки схватили меня на границе и приволокли домой. Долгие годы я сидел возле хаты, не смея даже войти в нее поесть; устроил себе постель около скотины и там жил летом и зимой. Я оглох, ослеп, почти ничего не ел, разве картошечку и малость воды. Так проходила мимо меня жизнь и мои дети.

А хуже из наших те, что пошли на службу. Когда приходит польский жандарм и гонит сына с лошадью по наряду, так я беру кнут и сажусь, знать бы только, куда ехать.

«Ну, что, старик, где ваша Украина, и сколько моргов земли ты хочешь урвать у пана, и каким министром должен был стать твой внук?» — «Глухой, говорю, ничего не слышу». Либо девок вожу с ними, либо с улиц

мусор подметаю, вот так и отрабатываю. А те из наших, что пошли на чужую службу, отворачиваются от меня, будто не узнают, ходят, бедняги, как щенки, которых хозяин вышвырнул в пустое поле. Но одна молодая учительница все-таки меня узнала. Не плачет, не убивается: «Дедушка Гриць, говорит, как мне быть, мой начальник хочет, чтоб я приняла его веру». — «Голубушка, говорю, не ходи ты к ним, коли они твоей верой гнушаются, сиди в своей хате и ешь черный хлеб».

. . . . . .

— А к вам у меня теперь большая просьба. Долго ль, коротко ль буду я таким здоровым и возрожденным, неведомо, но, как умру, немедля приезжайте ко мне, а то боюсь, что дети после моей смерти сорвут со стен и Шевченко, и Франко, и всех наших забросят на чердак. За их правду внуки погибли. А детям моим этого не понять, и они на них смотреть не могут. А когда я уже буду лежать в гробу, спросите моих детей при всем народе, будут ли они почитать эти портреты, как я, или повернут их лицом к стенке, чтоб угодить катам и жандармам. Этот вот маленький внучек еще стал бы почитать их, но ему пока не пол силу.

Если же мои дети не захотят почитать моих святых, то купите кожаную шкатулку и положите их ко мне на грудь. Говорят, кожа не гниет веками.

И еще одна просьба у меня к вам. Оставляю полоску земли тому, кому вы найдете нужным, чтоб, когда будут собирать вместе кости наших воинов, пусть и за меня бросит на курган кто-нибудь несколько лопат. Но высоко-высоко, ибо на тех костях расцветет наша земля. А на похороны у меня все приготовлено, ни одного гвоздя детям доставать не придется.

На другой день ранехонько пришел ко мне посланец и сказал, что дед Гриць после моего отъезда попросил маленького внука сыграть на сопелке, напился молока, язвительно пошутил над своей старухой, оделся в белую рубаху, взял свечку в руки, зажег, лег на постель и тут же скончался.

1925 г.

НИТКА

В хате тихо, в окнах черно. Образ божьей матери, еле освещенный, и — кудель.

Семен муж ее, он даже и во сне ее любит. Около него Мария и Василь. А возле нее в люльке меньшой, Юрко. На стенах образа. И такая большая радость, что она любит и ее любят.

В хате чисто, садиться бы только да прясть.

— Он у меня сильный, у меня еще будут дети. Сколько детей ни нарожу... он всех прокормит. Я должна одевать их, любить и работать на них.

Нитка длинная-предлинная, бесконечная, и никто ее не довел до конца.

— Их надо наряжать, и бог повелел мне их любить. Хочу, чтоб мой муж чуял на своем теле все мои пальцы, все десять. Марию надо нарядить на пасху, а мальчонки все изорвут, — знают, мама сошьет новое.

Муж спит, как убитый, Мария раскуталась, а в люльке около нее забеспокоился Юрко. Закутала их и прилегла грудью около Юрка.

И пряжа, и глаза, и нитка — ровная и бесконечная.

— А когда напряду на них и полотно выбелю, как бумагу, то все вышью для них.

И стану из ворот глядеть им вслед, моему мужу и моим детям. Все они мои, когда идут под солнцем.

К полуночи устают глаза, пальцы немеют, а нитку надо еще и еще прясть. И она всем своим молодым телом клонится к кудели.

— Надо одолеть слабость, они ждут от меня, все, вот эти, что спят; свою нитку я доведу до конца.

Но сошла с образа на помощь матерь божья.

Да не захотела долго помогать. Сошла раз ночью и сказала: «Больше помогать тебе не буду. Иди за мной».

1926 г.

РОСА

Старый Лазарь чуть свет рыхлил грядки. Предрассветные пасмы втаскивали солнце на землю. Лазарь, опершись на цапку, встряхивал седыми волосами и улыбался, — уж очень он любил это брызжущее огнями рождение дня! В сумраке рассветном все представлял себе будущее детей своих, внуков и правнуков.

Тихо, птицы поют. Роса разъедает ноги, но эту росу каждый стебелек так радостно несет на себе, словно божий напиток.

— Эх ты, роса, ела ты меня с малых лет! Овец пас и плакал от тебя. В молодости, бывало, засучивал чистые штаны, возвращаясь от девушки, чтобы мать не бранила; а как стал хозяином и выходил хлеба косить, ты грызла меня, кусала, обороняя каждый стебелек от косы, чтобы завтра еще напоить его своим острым напитком. Но осенью ты хуже всего, потому что отнимают у тебя всех, кому ты каждое утро лицо умывала. Ты, как мать, которая не отдает своих детей.

Да, роса, походил я по тебе, и поразъела ты меня, но, и едкая, ты была, как мед, что щиплет и пьянит. За семьдесят лет я не миновал тебя ни в одно утро и все ждал ясного солнышка, чтобы оно, большое и ласковое, обсушило меня, а тебя, роса, взяло в небо, чтобы вечером пролить, когда всякая травинка жаждет. Ты, господи, поливаешь землю росой, как мы — рассаду. А ты, божья водица, давала крепость и здоровье пшенице и ржи, но и я был от тебя здоровый и крепкий. Жалею я очень, что не оросишь ты меня, когда святое солнце народится...

Взглянул на свою белую хату.

— Ой, хоромы мои, я потихоньку из вас выхожу, чтобы не разбудить внуков. Они так хорошо, раскинувшись, спят, что грешно дверью скрипнуть; сон их святой, ведь их бог взял к себе на колени, на коленях божьих они растут. И старуха тут же следом за мной поднимается, укрывает детей и ходит мягко, словно кошка, готовит им завтрак. Боже мой милостивый, чем я отплачу за ласку твою? Ты своим солнцем, дождем и бурею долгие годы давал мне силу, чтобы дети мои и их дети жили и росли.

Только внуки не те, что прежде были, теперь у них книжки, и песни у них другие. Глупая старуха не нарадуется им и строит Украину; одурела старая с внуками. Выманивают у нее деньги на театр да на книжки и таскают эту старую коробку по читальням, а она вернется с ними домой, радуется, словно девка. «Ой, старик, говорит, если бы ты видел, какой казак наш Тома, в серой шапке, в синих штанах; люди хлопают ему в ладоши, а он говорит, как в книжке, и рубаха на нем горит. Эх, кабы ты хоть разок поглядел на них». — «Я, говорю, стар, чтобы глядеть на такое, и неповинен в том, что ты со своими внучатами девичество вспом-

нила. Ты мне только скажи, откуда у тебя деньги на шапки да на синее сукно и огневые рубахи, ведь ты слепая, как крот, — не ты же им вышивала? С той поры как одурела ты со своей Украиной, у меня в кошельке деньги не держатся».

Но не пьют ведь внуки-то, не гуляют, в кабак не ходят, всё гудят, как пчелки: «Украина, Украина». Малыш Кирилл подошел ко мне, словно к ребенку: «Дедушка, а дедушка, я прочитаю тебе такое хорошее».

И читает, и хорошо там написано, но я грамоты не знаю и только ради малыша сижу и поддакиваю.

Они у меня ласковые, благослови их господь с их надеждами. Они хотят нового, на то они и молодые.

Эти думы его прервало солнце — оно взошло золотое — и старуха, позвавшая его завтракать.

— Ты, солнце вечное, снова благословляешь меня на завтрак. Ослаб я, росе — твоей дочери — нечего уже из меня пить, одни кости. Но у меня внуков много. Росе есть кого осыпать жемчужинами своими. А ты, матерь наша, ясное солнышко, благослови их на завтрак.

Старый Лазарь росяным листком утер свои мокрые глаза и пошел в хату к внукам.

1927 г.

ГРЕХ

Задумалась Касьяниха: что же теперь будет? Муж вчера вернулся с фронта, испил воды и заснул. Пахнет от него паровозным дымом. На шестке мерцает каганец. Возле нее с одной стороны, то и дело сбрасывая с себя одеяло, лежит большенькая девочка; она от мужа

до войны родилась. А солдатский выродок то и дело шарит грудь. На стене легла тень ее круглой груди, как гора, а губы приблудыша выглядят на стене, как прожорливый змей. И она думает: «Этот малец, как упырь, высосал всю мою женскую честь да и всю мою кровь высосет».

«Что же это будет, когда муж проснется? . . Ой, как он эти длинные косы намотает себе на руки, как возьмется волочить мое белое тело да об лавку, о печку. А потом вытащит на порог, и тело останется в хате, а голова свалится в сени, и кровь с нее псы лизать станут. Так, сука, будешь искупать свой грех. А этот мой щеночек пропадет в грязи и позоре, никто ему рубашонки не даст, а если, не дай бог, вырастет, то будет скитаться без меня в наймитах и не услышит ничего о своем отце, а тот в широкой степи ничего о нем не узнает. Господи боже, за что ты меня так тяжко покарал, отнял у меня разум, когда он глядел в мои ясные очи и мои косы прятал к себе в шинель, за пазуху? Ты, господи, виноват, это ты у меня тогда отнял разум. Мигаешь мне светлыми звездами и смеешься. Будь же ты проклят, как и я! . .»

«Мать моя два дня стояла у притолоки печальная, больно ей было за свою честь, мои сестры слезами стирали пеленки. А отец неделями не входил в хату и на дворе съедал свой сухой кусок хлеба. Поп в церкви проклял меня, люди меня сторонились. Такого бремени и скала не вынесла бы. И я только потому не кинулась в Дунай, что мой приблудыш шелковыми глазами улыбался мне».

Она схватила ребенка, прижала к груди приговаривая:

— Кто бы мне дал такую силу, чтобы вот сейчас уйти со двора или наточить нож и всадить ему в самое

сердце! Ох, боже, ты нас толкаешь на грех, но не даешь силы смыть его! . . Не убью тебя, родимый, хоть и тянет меня на это, сердце мое трепещет, как паутина на ветру, — о, если бы я могла вырвать свое сердце и заткнуть им тебе горло, чтобы умер ты с двумя сердцами, а я без сердца! . .

Утро.

— Чей это ребенок?

— Знаешь ведь, что не твой, а мой.

— Ну и этого прокормим.

— Нет, я не хочу, чтобы ты моих детей кормил, я его сама прокормлю.

Она прижала к себе малыша железными руками, думала: «Вот хватит топором!» — и хотела погибнуть прежде сама, чтобы не видеть судорог маленьких ручонок.

— Да ты баба, что ли, муженек, и не шутишь, и тебе легко будет переносить позор своей жены? . .

Ты знаешь, когда я распутной стала, то ко мне стучались в окно все гуляки, и я тебе больше не жена, такая жена тебе не нужна. . . Оставляю Катерину, она большенькая, она твоя, а сама я уйду со своим ребенком.

Из сундука выбирала свое приданое. Взяла себе две сорочки и кожушок.

— А остальное Катерине останется, она такая умная и ласковая, тебе с нею будет очень хорошо.

Она шла по улице с ребенком.

За нею — мать, и отец, и сестры, и соседи. Все кричали:

— Не уходи! Не уходи!

Но она почти бежала и, когда вышла на бугор и

увидела вдали пики высоких гор и светлые реки, тогда глубоко вздохнула, дала грудь сыну и прошептала:

— Грех ты мой, грех, я тебя искуплю, и ты вырастешь у меня большой, мой сынок!..

1927 г.

ГЛУПЫЕ БАБЫ

Посвящаю политическим заключенным.

Как это случилось, что бабы устроили на базаре неразрешенное сборище, этого никто толком не знает. Началось с того, что одна женщина из Стецева вернулась возмущенная от сына, который сидит в тюрьме в Коломые.

— Чуть не замерзла под теми стенами, не пускают — да и только. Хожу по морозу, душа заходится от холода, ну, хоть бы за решетками увидеть его...

Женщин вокруг стало больше.

— Спрашиваете, за что сидит? А кто ж его знает? За газеты. Увидел в окно жандарма да и сунул мне за пазуху какие-то бумаги. Жандарм обыскал его с ног до головы, перевернул всю хату вверх дном и уселся. Подумал-подумал и говорит моему мужу: «Сходи-ка за шинкаркой, пусть сейчас же придет».

Пришла, а жандарм и говорит ей: «Обыщи-ка эту женщину, нет ли у нее каких-нибудь бумаг». И верно, вытащила она у меня из-за пазухи те бумаги, что сын мне дал. Жандарм обрадовался, пересмотрел бумаги и говорит сыну: «Собирайся в участок». И вот как ушел, так и поныне... Спрашивала я везде, разыскивала и наконец прослышала, что он в тюрьме в Коломые.

Женщин все больше и больше.

— А хоть бы мне и замерзнуть, то все одно поеду к нему, он же у меня самый любимый сыночек, может он там голодный, может его вша заедает, может мерзнет за решетками. Муж кричит: «На кого остальных детей оставляешь?» А я говорю: «Не довезешь до чугунки, так, ей-богу, на коленях поползу». Видит, что со мной ничего не поделаешь, запряг коней и повез. Села я на ту чугунку, понесла она меня, а я думаю, вот сейчас увижу сына. . .

Женщин собралась уже большая толпа. И мужики с кнутами в руках подошли сзади, и полицейский уже подслушивает.

— Да пока я нашла эту тюрьму, да пока там добилась — и не приведи господи! Но подвернулся какой-то добрый панок и говорит мне: «Что ты, баба, под этими стенами мерзнешь?» А я в слезы. Рассказала ему, что, мол, так и так, и повел он меня во двор тюрьмы. Сняли с меня протокол, как прозываюсь, да как сына зовут, откуда. . .

Жандарм попробовал было разогнать, да с бабами не легко справиться.

— Ну, и повидалась я с сыном, кажись, отродясь так на него не радовалась. «Не горюйте, мама», — и веселый он такой и говорит: «Здесь нас много таких сидит, ничего нам не будет; ну, если год-два получу, так мы молодые — отсидим». Вот так он меня утешает. Гляжу я на стены каменные, на эти оконца маленькие с решетками и говорю ему: «Да где ж тебе, сынок, здесь два года вытерпеть?» Вот этак я с ним маленько побыла и вдруг слышу: «Эй, старуха, уходи». Но мне уж и это хорошо. . .

Тут началась целая война, жандармов все больше и больше, бабы не хотят расходиться, крик. Какая-то женщина из Карловки кричит:

— Вы хотите всех наших детей, что учатся в школах, в тюрьмах сгноить, чтоб потом мужиков в ярмо запрячь?

— Вы наших детей разогнали по всему свету. Мой бежал на Украину, и не знаю, жив он или нет.

— А мой пропадает где-то у чехов...

— А мой у немца, чтоб вам жить так легко было, как мне оплакивать моего ребенка.

А жандармов все больше. Крик нарастает. Мужики пробуют успокоить жандармов, что это, мол, глупые бабы, что они не знают порядка.

— Так пускай эти две бабы выйдут, мы составим протокол, а остальные пусть расходятся.

— Э-э, мы знаем эти протоколы. Забирайте нас всех!

Долго ль, коротко ль пререкались бабы с жандармами, но через некоторое время они, окруженные жандармами, двинулись походом к магистрату. Снег скрипел и скрежетал под ногами, а позади шли мужики.

Все женщины в красных платках. Как их отличишь одну от другой, да и кто с такой оравой баб справится?

И это была правда. До самого вечера мерзли женщины во дворе магистрата, обменивались между собою платками, чтоб их не узнали, и нельзя было их выгнать. Пришлось даже упрашивать, чтоб только от них избавиться.

А как рассыпались по улицам, то хохотали, будто со свадьбы идучи.

Известно, глупые бабы.

1928 г.

ШКОЛЬНИК

В сельской канцелярии собралась толпа взбудораженных, крикливых женщин. Только староста и жандарм с карабином сидят у стола спокойно; на земляном полу позади старосты, в уголке, сидит очень оборванный мальчонка и поглядывает на всех черными глазенками.

— Чего же вы, бабы, хотите от этого сорванца?

— Мы хотим, чтобы вы его приструнили, а то от него ни нам, ни нашим детям во всем селе житья нет...

Закричали, замахали руками.

— Да объясните, Тофанка, вы же бегали за жандармом...

— А что тут много рассказывать об этом крапивыше. Он собирает маленьких ребят по лугам и кормит их мухами и червяками. Рты у ребят распухают, они ревут по ночам и спать не дают. Ребятишки тащат ему все, что только в хате попадется. Он ест с цыганами тухлое мясо. Такого еще и свет не видывал. С тех пор как умерла его мать, он совсем одичал, никто его не кормит, ночевать не пускает, никто даже рубашонки ему не постирает.

А мальчик с пола отвечает:

— Ну и глупая эта Тофанка, да если маму мою засыпали землей, кто ж должен меня кормить и обстирывать? Где что сцапаю, то и съем и не голоден, где что стяну с плетня, в то и оденусь. Бьют меня, и больно бьют, но я терплю. Раз нет мамы, надо терпеть...

— Поглядите только на него, хоть бы заплакал, попросил прощенья, так он еще мудрит...

— Да говорите вы, Тофанка, что он натворил?

— Собрала это я своего Лукашку в школу, умыла, накормила, надела чистую рубашку, взял он черниль-

ницу, сумку с книжками и хлеб за пазуху. Ну, а я мою шерсть перед хатой и ни о чем не думаю. Через какой-нибудь там час, а может, и полчаса, вбегает в ворота такое, ну, чисто чорт, всеми красками размалевано и вопит так, что даже ушам больно. Только по голосу признала, что это мой парнишка. Схватила на руки, внесла в хату, мою, колочу, а он кричит. Видите, у меня и рукава и грудь перепачканы всякими красками...

Бабы рассматривают пятна на кофте Тофанки и прикидывают, отстирается краска или нет.

— Мальчонка охрип от плача и рассказывает мне: когда он шел в школу, этот крапивыш обогнал его лугом и говорит: «Так и так, Лукашка, снимай рубаху, я тебя сейчас раскрашу всеми красками. Ребята будут бегать за тобой и смеяться». Ну, мой-то и скинул рубашку, а тот его возле пруда и размалевал всеми красками. «А, ну, говорит, побегай по лугу; как бабочка будешь». А сам схватил его рубаху, поясок — ну все, и удрал в кукурузу. Нарядился, облил себя краской и пошел приблуда в школу...

Тофанка хотела было поколотить мальчишку, но жандарм заступился за него.

— Вот я и говорю, что Тофанка глупая. Думает, что я ее испугался, когда тут жандарм и староста? Да я и на дороге ее не побоюсь, убегу, как ветер. И на пруду тоже не побоюсь, пихну в воду — и конец. Немало досталось мне колотушек, пока я ума набрался. У меня кровь шла и из глаз, и из ушей, и из горла, пока я поумнел; и ноги стали у меня сильные. Я теперь от кого хочешь удеру...

— И это, добрые люди, раскаяние. Да вы, староста, сделайте что-нибудь с этим сорванцом. Он наших ребят всех попортит. Вот поглядите, как он бельмами-

то моргает, насмехается над нами. Ишь, какой довольный!

— Малец, скажи-ка, есть ли у тебя дядя, или тетка, или какая-нибудь родня?

— Есть, много. Но когда после похорон мамы забирали плахты да полотна, так еще брали меня к себе, а потом только били и выгоняли и есть не давали. Вот мне и пришлось воровать. Пока было тепло, я спал в хлебах или в кукурузе, а как становилось холодно, прятался в ясли к коровам. А у коров дых теплый, они и грели меня. Ребята приносили поесть, а учительница дала кафтан, длинный такой. . .

— А сходи-ка за его теткой, той, что возле леса проживает. Скажи, чтоб сейчас же явилась сюда, в канцелярию.

— И что ж вы с этим крапивышем думаете делать? Наказывайте да в холодную запирайте его. А не то нам ребят нельзя из хаты выпустить.

— Наказывайте, я выдержу. У меня и так весь зад избитый. Глядите, каких тут только палок не было! . .

И мальчик поднял рубашонку и показал женщинам свое тело.

— Глядите, глядите! Ни стыда, ни совести. . . — загудели бабы.

— Вон тетка его идет. . .

В один миг мальчик забился между ног жандарма.

— Ой, пан жандарм! Эта тетка будет меня бить! Она больно бьет! Я на селе вижу все и приметил, что к ней ходит этот Басок. А как сказал ей, так она гналась за мной до самого сенокоса да так запустила в меня палкой, что мясо вырвала. Эта б меня убила. Бабы — они ни за что так не злятся, как за то, если скажешь, что к ним кто-то ходит. Я за это не мало па-

лок отведал, а больше всего от своей тетки. Укради у них рубаху или сала, и то не так бьют...

Все бабы обернулись к тетке крапивыша, начали перешептываться и подсмеиваться.

— Пан жандарм! Я все на селе знаю. Знаю, где сало лежит, где карабины зарыты; знаю, где в шинке часы стоят, — меня ж никто в хату не пускает, так я должен ходить и подсматривать. Вы можете меня хоть повесить, я видел, как повесил Лесь своего парня вверх ногами. А потом сколько жандармов было, и доктор резал... Ну, а после хорошо похоронили. Только этой тетке меня не отдавайте, а то она из-за этого Баска очень на меня злится. Если в тюрьму, на виселицу, так на виселицу, но я должен сам о себе заботиться...

1931 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

САМОМУ СЕБЕ

Ты будь у меня, как небо осени в ночи — сурово. Будь чисто, как плуг, что пашет землю. Будь матерью, что темной ноченькой колышет дитя и тихо-тихо напевает.

Наряжайся, как девушка рано поутру наряжается; и как выходит в сад к милому, — и так еще наряжайся.

Шепчи людям, как ручей своему берегу шепчет.

Сокрушай, как молния, что самый крепкий дуб разит, раскалывая в щепы.

Плачь, как те миллионы плачут, что тенью скитаются по свету.

Лети, как страсти мои, подгоняемые батогами, а батогов тех больше, чем лучей у солнца, лови чужие страсти, сплетайся с ними и вместе сгорайте.

Когда выбьешься из сил, отдохни на иве, глядя на тихий пруд.

Таким будь мое слово!

1896—1897 г.

В ВОЗДУХЕ ПЛАВАЮТ ЛЕСА...

В воздухе плавают леса и села среди них.

На небе тучи, точно мох, примерзший к земле в лесной тишине — серый, льдом покрытый. Серые тучи застыли над закатом и окаменели.

Солнце — как будто из него кровь выпустили: бледное, и лучи такие же.

Оно спрячется за те серые скалы на закате. Обойдет и, как вор, прокрадется.

Если б кто-нибудь разбил эти примерзшие тучи, то стал бы выше солнца. Сотворил бы новые звезды, а то много их там сидит закованных.

. . . . . .

Если б я мог разбить ту скалу, что душу мою заковала!

Зашумели б леса, запели бы села.

Там закован голос свирели моей, а когда играла она, лес к восходу клонился.

Там спрятан и шелест листвы придорожной, что тихо шептала, чтобы овцы мои чрез нее не ступили, в посев не зашли. Там клятвы любимой. И каждое слово, сказанное ею — пело.

Только б свирель заиграла, только бы овцы мои возвратились и любимая заговорила!

Ой, нет уж...

Душа закована в скале, как тать. Не выйдет оттуда девушка в белом платье; потому что нет больше свирели моей, нет овец моих и любимой нет у меня.

Не зашумит лес, не запоют села.

1897 г.

РАНО ПОУТРУ ЧЕСАЛА ВОЛОСЫ...

Рано поутру чесала волосы. Сквозь окно пробивались осенние лучи, ниспадая с волос, как серебряные тоненькие ниточки с золотой глыбы.

Она чесала волосы, а широкие листья ореха под окном тихо раскачивались и перегоняли лучи с одного стекла на другое.

Шум ореха вкрадывался в ее мысли. Все медленнее и медленнее водила гребнем по волосам — и перестала.

Оперлась обеими руками на стол, а волосы упали и плечи, и кресло закрыли. Падали вниз, как золотые волны водопада. Падая, волны пробивали себе желобками дорогу и теперь омывали шею.

Чистая, омытая, словно белый камень, эта шея.

— Вот и осень. Не шепчешь ли ты, листва, что он меня уже не любит? А может, как и люди, говоришь, что попусту я поддалась на уговоры? Или ты приносишь его мысли, что я старею и меня нельзя любить? Скажи, скажи, орех, что ты шепчешь?

Склонила голову на белые руки. Прядь волос упала и закрыла голубые жилки, вытканные на руках.

— Скажи мне, орех, скажи, милый!

И зарыдала. Слезы катились по рукам, словно капли, что отрывались от водопада.

А за окном шептал орех широкой листвой: «Чеши, чеши волосы, глупая, он тебя любит!»

1897 г.

И ЧТО ТЫ, СЕРДЦЕ МОЕ...

И что ты, сердце мое, так полно греха? И почему ты, сердце мое, не разорвешься?

Вечер. Месяц на небе разгорается, песня юношей

прокладывает себе мосты к звездам, одинокая свирель батрака жалобно стонет и доносится из яслей к панским окнам. Спокойно синеют дымы по долинам, кучки черных овец ищут свои ворота, за ними дети поднимают пыль.

И что ты, сердце мое, жалобно плачешь у меня в груди, словно покинутая пташка? И почему ты, сердце мое, не разорвешься?

Ужинают. Мать хлопочет за столом, гремят ложки, семья ест приготовленный матерью ужин.

Сирота прижимается головой к острому косяку двери и вспоминает что-то давно ушедшее. Читают молитвы, расходятся спать, лунный свет отражается в окнах...

И что ты, сердце мое, трепещешь, как листочек от ветра? И почему ты, сердце мое, не разорвешься?

1897 г.

МОЕ СЛОВО

Бледными губами вполголоса расскажу вам о себе. Ни жалобы, ни грусти, ни радости не ищите в моем слове!

Я ушел от мамы в белой домотканной рубахе и сам белый, как лен.

Над белой рубахой смеялись, обижали меня и ранили мое сердце.

И я ступал тихонько, как белый котенок.

Я чувствовал всю подлость робкой походки, и мое детское сердце истекало кровью.

А спал я в нанятом углу среди грязных, сплетенных в распутстве тел.

Листочек белой березы в мусоре.

. . . . . .

Я снял надетую мамой рубашку. Мой детский мир и давнее мужицкое прошлое моего рода остались позади.

Передо мной стоял новый мир, новый и черный.

Я хватался за его полы, как маленький нищий, а он высокомерно глядел на меня.

Я онемел от боли. И молчал долгие, долгие годы.

Слова мои невысказанные, слезы мои невыплаканные, смех мой недосмеянный!

Легли вы на меня, как ложатся на чужбине черные камни разбитого креста на могилу.

. . . . . .

Я нашел товарищей.

Они примирились с новым миром. А я говорил им о моем покинутом и о новом, который несправедливо попирал нас.

Сказали, что я лгу.

А я рвался и в изнеможении падал в грязь, но не уступал.

Сказали еще раз, что я лжец. И покинули меня.

А когда я плакал, то мама рыдала:

— Будь таким, как ты есть, все равно паны тебя не примут, не надо было покидать меня.

И остался я, словно куст среди поля.

. . . . . .

Я сидел среди поля.

Мои думы сновали по длинным пластам плодородной пашни. Сосали землю и питали меня одиночеством.

И приносили они соленый пот и тихие песни, которые тянулись за пахарем, за плугом и за погонщиком. И наполняли меня тем покоем, что витает над ярмами волов, впряженных в плуг.

Видел я еще огоньки костров, окруженные маленькими пастухами, и овец в поле.

Здесь буду я царить, как буйный ветер, здесь запою свою песню!

. . . . . .

Я создал себе свой мир.

Справа от меня синева полей, и черные пласты, и сверкающий плуг, и песня, и соленый пот.

Слева — черная машина, что из огненной пасти проклятием стонет.

А в моем сердце — мой мир, тканный шелком, вышитый чистым серебром и жемчугом отороченный.

В моем царстве.

. . . . . .

Буду свой мир высекать, точно камень.

Слово свое буду острить на кремне души моей и, пропитанное зельем-отравой, буду пускать налево.

И слово свое буду ломать на маленькие солнечные лучи и, окунув его в каждый цветок, буду пускать направо.

А свой камень буду высекать неустанно. И положу его на могилу свою, как мертвую красу.

А вишня у меня в изголовье впитает в свой цвет все мои боли.

. . . . . .

А в своем мире я живу, живу!

Как безумный, брожу в облаках своей фантазии.

Сотни раз рассылаю силы своей души, чтобы в далеких краях отыскали они мое счастье.

По тихому пруду моего прошлого плывут неводы моих сердечных желаний, чтобы выловить все светлые мгновения моей жизни.

Но неводы рвутся и ничего не могут поймать.

Возвращаются ко мне измученные и пустые, как мужики с поля.

И я, печальный, дремлю на облаках.

. . . . . .

А когда грянет гром — я вновь поднимаю чело свое в небо.

И лечу, лечу на черных тучах. . .

Золотой стрелой пронзаю ясные высоты.

В черные кудри прячутся звезды, как в черную тучу.

От взгляда моего холодные тучи теплым дождем ниспадают на землю.

Но до солнца дойти я не в силах.

И падаю с высот вниз.

Как скитается старый солдат на деревянных ногах, так скитаюсь и я.

. . . . . .

Но крылья отрастают, и я снова лечу к солнцу и к счастью.

И снова рассекаю небесные своды и падаю.

. . . . . .

Я был счастлив.

Когда в детстве смотрел в глаза мамы, и видел, как по ним тихо проплывали светлые облачка счастья, — я был счастлив.

Но теперь на эти глаза смерть руку свою наложила.

А я ищу счастья под небом и падаю. . .

1899 г.

КОММЕНТАРИИ

В этот сборник «Избранных произведений» Василя Стефаника вошли 46 лучших новелл, написанных им в различные периоды его жизни. (Всего Стефаник написал свыше 60 новелл.)

Книга состоит из двух разделов: первый — избранные новеллы, второй — стихотворения в прозе. Перевод сделан по тексту книги: Василь Стефаник. «Вибрані твори». Государственное издательство художественной литературы, Киев, 1949 г.

НОВЕЛЛЫ

«Кленовые листья» — лучшая предвоенная новелла Стефаника. Писатель любил ее больше всех своих произведений. Семь различных вариантов говорят о том, с какой любовью она создавалась.

В этой новелле, как в фокусе, отражено все основное, характерное для творчества Стефаника: его бесстрашие перед правдой жизни, социальная заостренность, горячая любовь к бедняку, глубокое проникновение во внутренний мир героя, лаконичность, совершенство владения формой диалога и тонкий анализ психологических переживаний героев и персонажей.

Новелла написана во второй половине 1900 г.

Впервые появилась в печати в «Литературно-научном вестнике» («ЛНВ»), Львов, 1900, декабрь, т. XII, кн. 12-я, стр. 330—337.

«Синяя книжечка». Прототип этой новеллы под названием «Форналь Антон» появился в печати еще в 1890 г. в гимназическом журнале «Поступь» № 3, редактируемом в Станиславе и отпечатанном на гектографе в г. Тарнополе. Под названием «Синяя книжечка» новелла впервые была напечатана в газете «Праця» («Труд»), Черновицы, 1897, № 15—16, 21 ноября, за подписью «С.».

В 1899 г. в Черновицах вышел первый сборник произведений Стефаника под названием «Синяя книжечка», в который вошли ряд реалистических новелл: «Мамин сынок», «Катруся», «Осень», «Ангел», «Портрет», «Семья Леся» и др. Этот сборник открывается новеллой «Синяя книжечка».

«Дети». Новелла впервые появилась в печати в сборнике «Каменный крест», Львов, 1900, стр. 59—62.

«Провожали из села». Впервые была напечатана в газете «Праця», Черновицы, 1897, № 14, 24 октября. Написана новелла летом 1897 г.

«Погубил себя» — это как бы продолжение новеллы «Провожали из села». Сюжетом для нее послужило самоубийство двоюродного брата писателя Луки, который повесился во Львове, где отбывал воинскую службу.

Впервые появилась в печати в газете «Праця», 1897, № 15—16, без подписи автора.

Написана новелла летом 1897 г.

«Письмо». Эту новеллу Стефаник посвящает «Политическим заключенным мужикам в сочельник». В основу сюжета новеллы легло действительное происшествие, случившееся в апреле или в мае 1897 г. в с. Пистыни, около Косово (Зап. Укр.).

Новелла написана осенью 1897 г.

Впервые появилась в печати в Черновицах в газете «Праця», 1897, № 17, за подписью «С.».

«В корчме» Написана в 1897 г. Впервые напечатана в газете «Праця», 1897, № 15—16.

«Святоша». Впервые напечатана в газете «Праця», 1897, № 17.

Написана летом 1897 г.

«Вечерняя пора», «Заседание», «По дороге из города». Эти новеллы написаны в конце 1897 — начале 1898 г. Стефаник послал их в редакцию «Литературно-научного вестника». Один из членов редакции ответил автору, что у него есть «талант наблюдателя», что он умеет, как фонограф или стенограф, передавать разговор крестьян на покутском диалекте, что его миниатюрные новеллы «быстро набросаны», но они еще «сырой материал».

В своем письме, датированном: «Краков. 11. III. 98», Стефаник ответил Осипу Маковею, в то время редактору «ЛНВ».

«Вечерняя пора» — это такая дивная пора, что навевает на душу всякие воспоминания. Вначале они мечутся, рассеиваются, как тучка в небе, а потом овладевает одно воспоминание, и оно держит душу в тоске в этот час. Это — картина без рамок, но картина».

«Разговаривают себе пролетарии, «Возвращаясь из города», про ту жизнь, что прошла и что вчера пропала. Говорят о прошлом, о традициях и уже начинают фантазией переплетать действительность. Это завязка басни или басня о благосостоянии. Что может быть более ближе искусству, когда оно слышит три мужицких голоса, как они полем расходятся и басню творят? Разве нужен здесь голос автора или описание тех ртов, что разговаривают? Разве искусство не есть учитель гимназии!»

«Или сошлись выборные на «Заседание». Идет дружеская беседа. Вырисовывается в этих разговорах и старый мужик-твердоверец, и новый, который уже что-то читал из передовой (радикальной) литературы и староста-трус. Обрисовываются какие-то изменения, что наступят в ближайший час и разделят этих выборных на противоположные лагери. Но все это неясно еще, как неясны те мысли, которые приходят из города в село. Подобные заседания ныне по всей Руси можно найти. Я хотел дать картину такого заседания, а не (образ) воровки. Почему мне редакция советует описывать воровку?»

Все эти три новеллы впервые были напечатаны в «ЛНВ», 1898, май, т. II, кн. 5-я, стр. 129—142.

Перевод песни из новеллы «Вечерняя пора», стр. 57 и 58:

Ой, не коси аист сена,
Утром роса по колена.
Пусть уж лучше чайка косит,
Набекрень что шапку носит.

Перевод «Колядки» из новеллы «По дороге из города», стр. 66 и 67:

Будь же здоров, пан Максим, в воскресенье,
В воскресенье рано зелен виноград посажен,
Желаем здоровья и счастья тебе в воскресенье,
В воскресенье рано зелен виноград посажен.
Честный, достойный, и богом храним в воскресенье.

«Семья Леся», «Катруся», «Осень», «Напасть». Эти четыре новеллы впервые появились в сборнике «Синяя книжечка», Черновицы, 1899, стр. 39—44, 75—84; «Осень» и «Напасть» стр. 101—115.

Написаны новеллы в 1898 г.

«Случай». Сюжетом для этой новеллы послужило происшествие, случившееся в с. Тройца на Покутье (Зап. Укр.) в декабре 1898 г.

В письме к своему другу В. Морачевскому «декабрь 1898 г.» Стефаник, описав этот случай, добавляет:

«Жаль, что нет теперь уже русалок, Дуце было бы лучше, чем Гандзуне. Вот таких, подобных этой, историй так много случается по селам, что они, как упыри, кровь выпивают. Все это является материалом для газетных «новинок». Ой, как горько!»

Впервые новелла напечатана в сборнике «Синяя книжечка», 1899, стр. 119—124.

Написал ее Стефаник в начале 1899 г.

«Сочельник». Новелла впервые появилась в печати в газете «Будучність» («Будущее»), Львов, 1899, № 2.

Написана в конце 1898 г.

Перевод «Колядок» из новеллы «Сочельник», стр. 93.

Новая радость настала, которой еще не бывало:
Над пещерой яркая звезда всему миру засияла.

Будь счастлив, здоров! Повей.
Повеял ветер, наклонил явор слегка.

«Каменный крест». Стефаник тщательно собирал материал для этой одной из лучших своих новелл, и долго над ней работал. Будучи еще студентом Краковского университета, он часто заходил на станцию, через которую проезжали украинские крестьяне-эмигранты, подолгу с ними беседовал и помогал им. Так родились впечатления, на основе которых Стефаник позднее написал свой рассказ.

В мемуарной статье «Под впечатлением постановки «Земли» в 1935 г. Стефаник писал:

«После спектакля, когда я возвращался домой, вставали передо мною некоторые герои моих рассказов, особенно Иван Дидух из «Каменного креста». Он ни за что не хотел покидать свою каменистую землю, но сыновья, невестки и дочери не давали ему покоя...» Иван Дидух писал потом Стефанику, что «вокруг него все чужое и что его ферма ему не мила».

Впервые новелла появилась в печати в «ЛНВ», 1899, июнь, т. VI, кн. 6-я, стр. 255—265. Вторично — появилась в сборнике «Каменный крест» (Львов, 1900), в который вошли еще восемь других новелл.

Написана в начале 1899 г.

«Подпись». Это правдивая история о том, как Евдокия Стефаник, племянница писателя, учила крестьян его родного села Русово умению расписываться, чтобы избавить их от больших взносов за удостоверения подписей на векселях.

Новелла впервые была напечатана в «ЛНВ», 1899, март, т. V, кн. 3-я, стр. 287—289.

Написана в январе — феврале 1899 г.

«Поле». Впервые напечатана в сборнике «Каменный крест», Львов, 1900, стр. 69—70.

Написана в 1899 г.

«Былое». Новелла написана в первой половине 1900 г.

Впервые напечатана в газете «Громадський голос» («Общественный голос»), 1900, № 17, 6 сентября, стр. 138—140 и № 18, 12 сентября, стр. 150—152.

«Поджигатель». Самая большая по объему новелла. Сперва Стефаник думал обработать этот сюжет в форме драмы, о чем писал в письме к В. Морачевскому во второй половине 1900 г.

«Новелла «Поджигатель» написана непосредственно с одноименной драмы, которую я хотел послать на конкурс, но уничтожил. 1) В хате Курочки. 2) В корчме за городом. 3) В панском хлеву. 4) В хате поджигателя. Таков порядок действий. Третье действие было самым лучшим, однако драма в целом мне не понравилась. Я не оставил мысль написать эту самую драму, но немного позже, когда буду более спокоен. А уничтожил я потому, чтобы ничем с прошлым не связывать себе рук».

А в письме к Ольге Гаморак (жене писателя), датированном: «Краков. 12. IV. 1900», Стефаник писал:

«Я теперь «борюсь» с пролетарием сельским, с поджигателем, с анархистом. Пишу о нем, а собственно, и о себе. Ибо свои мучения и терзания можно взвалить кому-нибудь на плечи, чтобы ими зиял на мир, как огромною раной. Это должна быть вещь намного больше, чем я до этого писал. В более длинных рассказах нужно много потратить сил на то, чтобы тянуть читателя дальше. Однако выслуживаться я очень не люблю и буду стараться «лакейство» сократить до минимума. Кто знает, хватит ли у меня сил закончить эту повесть так, как хочу. Я не могу целыми днями дрожать в горячке, и не в силах поворачивать мозги так, чтобы видеть все... Я так сильно измучен».

Впервые «Поджигатель» был напечатан в «ЛНВ», 1900, июнь, т. X, кн. 6-я, стр. 249—261.

«Предвестники», «Май», «Похороны», «Сон», «Озимь» — все эти новеллы были написаны в 1900 г.

Впервые напечатаны в сборнике «Дорога», Львов, 1901.

«Чудной панок». Напечатана в сборнике «Дорога», 1901, стр. 84—90.

Новелла написана в 1900 г.

«Суд». Это последняя новелла предвоенного периода творчества В. Стефаника. Сюжетом для новеллы послужило писателю происшествие, которое случилось в родном селе Русове осенью 1901 г. На свадьбе, которую крестьянин Иван Дидух (Зуб) справлял своему сыну, произошло побоище между бедняками и богатеями. Бедняки убили двух богачей и одного покалечили. В Русове об этом сложили песню.

Впервые новелла печаталась в сборнике «Мое слово», 1905.

Написана в 1902 г.

«Детское горе». Это первая новелла после четырнадцатилетнего перерыва, которую написал Стефаник в Вене в 1916 г. Впервые она была напечатана в «Буковинском православном календаре» на 1917 г. в издательстве товарищества «Украинская беседа» в Черновицах.

«Земля». Писатель посвящает эту новеллу своему отцу. В своих воспоминаниях в 1935 г. он пишет: «Это был разговор моего отца с людьми — беженцами из Буковины».

Впервые новелла была напечатана в «ЛНВ», 1922, май, кн. 1-я, стр. 6—8.

Написана в начале 1922 г.

Перевод песни, стр. 170.

Только моя милая,
Как голубка сизая,
Она спать не ложится!
Ребенка качает,
Мелко письма пишет,
С буйным ветром разговаривает...

«Сыновья». В основу сюжета была положена национально-освободительная борьба трудящихся украинцев Галиции против панской Польши.

В своих воспоминаниях в 1935 г. Стефаник пишет:

«Сыновья» написаны для наших солдат, которые возвратились с освободительной борьбы, а Максим, потерявший двух сыновей, действительно остался один, да только ли он один? . .»

Написана новелла летом 1922 г.

Впервые была напечатана в «ЛНВ», 1922, ноябрь, кн. 7-я, стр. 3—7.

«Военные убытки». Новелла правдиво отражает то, что творили оккупанты в селах Западной Украины в первые годы владычества панской Польши в 1921—1922 гг. Впервые новелла была напечатана в журнале «Червоний шлях», Харьков, 1926, февраль, № 2, стр. 5—7. Написана в 1925 г.

«Morituri». (Те, что должны умереть.) Написана новелла в 1925 г.

Впервые была напечатана в журнале «Червоний шлях», Харьков, 1926, февраль, № 2, стр. 7—10.

«Дед Грицъ». Прототип героя рассказа — крестьянин села Волчковцы на Покутье (Зап. Укр.) Григорий Запаренюк, известный передовой общественный деятель, приятель И. Франко и Стефаника. Большой успех имели среди крестьян Галиции его блестящие поэтические речи.

Новелла написана в 1925 г.

Впервые была напечатана в журнале «Червоний шлях», Харьков, 1926, февраль, № 2, стр. 10—12.

«Нитка». Героиня произведения — мать писателя Оксана. Другие персонажи — его отец Семен, сестра Мария, брат Юрий и сам писатель. Это стихотворение в прозе написано в феврале 1926 г.

Впервые напечатано в журнале «Світ», Львов, 1926, декабрь, № 23—24, стр. 3.

«Роса». Впервые была напечатана в календаре общества «Просвіта» на 1928 г., Львов, 1927, стр. 132—133.

Написана в мае 1927 г.

«Грех». Впервые появилась новелла в харьковских журналах в 1927 г.

Написана в первой половине 1927 г.

«Глупые бабы». Новелла написана в декабре 1928 г.

Впервые напечатана в журнале «Проти хвиль» («Против волн»), Львов, 1929, январь, № 1, стр. 1—2.

«Школьник». Новелла впервые напечатана в журнале «Рідна школа», Львов, 1932, январь, № 1, стр. 2—4.

Написана осенью 1931 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

«Самому себе», «В воздухе плавают леса», «Рано поутру чесала волосы». В мае 1897 г. в письме к В. Морачевскому Стефаник пишет, что послал ему семь «образков» (этюдов) или стихотворений в прозе, среди которых были и эти произведения.

Как видно из этого письма, Стефаник написал эти стихотворения в прозе в конце 1896 г. или в начале 1897 г.

Впервые эти стихотворения в прозе были напечатаны в журнале «Радянська Україна», Киев, 1941, май, № 2, стр. 103—105.

«И что ты, сердце мое?..» Это стихотворение в прозе посвящено Ольге Гаморак, будущей жене писателя. Это произведение написано в 1897 г.

Впервые напечатано в журнале «Радянська Україна», Киев, 1941, май, № 2, стр. 106.

«Мое слово». Это автобиографическое произведение, о чем указывает и сам писатель в письме к Ольге Гаморак в феврале 1899 г.:

«Это моя биография, написанная в тоне «Wahrheit und Dichtung» («Поэзия и правда» — Гете).

Впервые появилось в печати в «ЛНВ», 1901, январь, т. XIII, кн. 1-я, стр. 149—152.

Написано в начале 1899 г. в Кракове.

СОДЕРЖАНИЕ

Творческий путь В. Стефаника — *С. А. Крыжановский* 3

НОВЕЛЛЫ

Кленовые листья.—*Перев. Георгия Шипова* 25
Синяя книжечка.—*Перев. Георгия Шипова* 35
Дети.—*Перев. Георгия Шипова* 38
Провожали из села.—*Перев. Георгия Шипова* 39
Погубил себя.—*Перев. Георгия Шипова* 42
Письмо.—*Перев. Георгия Шипова* 45
В корчме.—*Перев. Георгия Шипова* 49
Святоша.—*Перев. Георгия Шипова*. 52
Вечерняя пора.—*Перев. Георгия Шипова* 55
Заседание.—*Перев. Георгия Шипова* 58
По дороге из города.—*Перев. Георгия Шипова* 66
Семья Леся.—*Перев. Георгия Шипова* 72
Катруся.—*Перев. Георгия Шипова* 75
Осень.—*Перев. Георгия Шипова* 80
Напасть.—*Перев. Георгия Шипова* 84
Случай.—*Перев. Георгия Шипова* 87
Сочельник.—*Перев. Георгия Шипова* 90
Каменный крест.—*Перев. Георгия Шипова* 94
Подпись.—*Перев. Аркадия Деева* 108
Поле.—*Перев. Георгия Шипова* 112
Былое.—*Перев. Георгия Шипова* 113
Поджигатель.—*Перев. Аркадия Деева* 119
Предвестники.—*Перев. Георгия Шипова* 135
Май.—*Перев. Георгия Шипова* 139

Похороны.—*Перев. Георгия Шипова* 143
Сон.—*Перев. Георгия Шипова* 145
Озимь.—*Перев. Георгия Шипова* 147
Чудной панок.—*Перев. Георгия Шипова* 149
Суд.—*Перев. Георгия Шипова* 155
Детское горе.—*Перев. Георгия Шипова* 163
Нянька.—*Перев. Аркадия Деева* 166
Земля.—*Перев. Аркадия Деева* 167
Сыновья.—*Перев. Георгия Шипова*. 171
Военные убытки.—*Перев. Георгия Шипова* 177
Morituri.—*Перев. Аркадия Деева* 182
Дед Гриць.—*Перев. Георгия Шипова* 186
Нитка.—*Перев. Георгия Шипова* 191
Роса.—*Перев. Аркадия Деева* 192
Грех.—*Перев. Аркадия Деева* 194
Глупые бабы.—*Перев. Георгия Шипова* 197
Школьник.—*Перев. Георгия Шипова* 200

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

Самому себе.—*Перев. Георгия Шипова* 207
В воздухе плавают леса.—*Перев. Георгия Шипова* . 208
Рано поутру чесала волосы.—*Перев. Георгия Шипова* 209
И что ты, сердце мое . . .—*Перев. Георгия Шипова* 209
Мое слово.—*Перев. Георгия Шипова* 210

Комментарии—*Л. Нестеренко* 214

Редактор *Л. Нестеренко*. Художественный редактор *Н. Мухин*.
Технич. редактор *Ф. Артемьева*. Корректор *Е. Мезис*.

Подписано к печати 16/II 1950 г. А-00478. Формат бумаги 70×108¹/₃₂.
3,5 бум. л. 9,6 печ. л. + 2 вкл. 8,88 уч.-изд. л.

Отпечатано в тип. М-121 и М-116 с матриц, изготовленных 2-й типографией «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ленинград.

2135

В 20
99

B3374

390118
2ар
Дз

В. СТЕФАНИК ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

М-119526